

СОВЕТСКАЯ ТЮРКОЛОГИЯ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР



АКАДЕМИЯ НАУК
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР



БАКУ-1976

1

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

С О В Е Т С К А Я ТЮРКОЛОГИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1970 ГОДУ

Выходит 6 раз в год

№ 1

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

БАКУ — 1976

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Г. А. АБДУРАХМАНОВ, П. А. АЗИМОВ, Н. А. БАСКАКОВ,
С. К. КЕНЕСБАЕВ, А. Н. КОНОНОВ, Б. О. ОРУЗБАЕВА, Э. В. СЕВОРТЯН,
И. С. СЕИДОВ (зам. главного редактора), Э. Р. ТЕНИШЕВ, Е. И. УБРЯТОВА,
М. Ш. ШИРАЛИЕВ (главный редактор), ЯШЕН КАМИЛЬ

Адрес редакции: 370602, ГСП Баку-122, просп. Нариманова, 31. Академгородок.

СТРУКТУРА И ИСТОРИЯ ЯЗЫКА

Н. Г. АГАЗАДЕ

СОПОСТАВЛЕНИЕ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

I. Типологическое исследование языка, как известно, имеет целью выявление типологической характеристики языка по всем его уровням как в плане выражения, так и содержания. Типологическая характеристика языка исходит из его системности, то есть из рассмотрения языка как единства взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, соотношенность и внутренняя организация которых определяется воздействием соответствующих лингвистических закономерностей этого языка.

Рассмотрение языка как системы ставит перед исследователем ряд задач, из которых отметим следующие:

1. Необходимость выявления типовых структур-моделей в системе языка, в границах одного его уровня, поскольку любой язык выступает как совокупность различных типовых структур. Анализ характера этих моделей играет немаловажную роль в определении общего типа или, как теперь принято говорить, общей типологии данного языка¹.

2. Необходимость исследования соотношений между типовыми моделями различных уровней данного языка, поскольку система языка раскрывается во взаимодействии единиц этих уровней. Такое рассмотрение языка способствует выявлению языковых изменений в плане их обусловленности взаимодействием различных уровней и установлению тенденций развития данного языка.

3. Количество типовых моделей, характеризующих структуру различных языков, как известно, довольно ограничено. Необходимость всестороннего обстоятельного описания типовых моделей в границах какого-либо одного языка ставит перед исследователем проблему выявления качественно-количественного соотношения аналогичных типовых структур по различным языкам как родственным, так и неродственным. Структурные модели, общие по своему характеру, отличаются зачастую даже у генетически родственных языков частными специфическими особенностями, обусловленными своеобразием как их типологии, так и закономерностями их развития.

Такое рассмотрение языковых явлений способствует, с одной стороны, выявлению лингвистических универсалий, а с другой — создает условия для раскрытия специфически-национальной, своеобразной самобытности языка.

II. Характер задач исследования, как известно, определяет и выбор методов, при помощи которых они наиболее эффективно решаются. Не-

¹ В. Н. Ярцева. Количественные и качественные изменения в языке. — В сб.: «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания». М., 1970.

обходимость выявления количественно-качественной соотнесенности типовых моделей в границах одного или нескольких языков совершенно закономерно ставит вопрос о целесообразности применения сравнительно-сопоставительного метода, который наряду с другими методами (метод компонентного анализа, валентный анализ, дистрибутивный анализ, статистический метод и др.) способствует успешному решению поставленных задач.

Однако при этом возникает чисто терминологический вопрос: что означает сравнительно-сопоставительный метод? Само название уже говорит, что в его основе лежит принцип сравнения и сопоставления. Следует отметить, что в лингвистической литературе в настоящее время наряду с термином «сравнительно-сопоставительный» широко применяются и термины «сопоставительный» и «сравнительный» методы. И это, конечно, не случайно, так как существенной разницы между понятиями «сравнение» и «сопоставление» нет. Здесь все зависит от традиции, традиционного наименования (в отличие от сравнительно-исторического метода). Еще В. А. Богородицкий, уделявший большое внимание типологическим изысканиям в области разноструктурных языков, писал: «Сравнение может быть не только генетическое, но также и аналогическое (типологическое. — Н. А.), т. е. можно сравнивать однородные явления и в языках неродственных»².

Классик типологических исследований, академик И. И. Мещанинов употребляет термин «сопоставление», что, однако, не исключает из арсенала используемых им терминов также и термин «сравнение»: «Типология устанавливается на языковом материале, выполняющем соответствующую функцию. Изучение сложившихся в нем систем во всем разнообразии их типологий уточняется сравнительными сопоставлениями»³.

Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос употребления слов «сравнение» и «сопоставление» носит чисто условный, терминологический характер. В целях чисто практических можно условно принять термин **сравнение** для применения в области исследования различных закономерностей, системных отношений и т. п. — то есть понятий чисто **абстрактного** характера. Термин же **сопоставление** рациональнее употреблять в тех случаях, когда исследуются чисто субстанциональные элементы языка. Однако, повторяем, это вопрос чисто терминологический, и тождественность понятий, выражаемых этими терминами, допускает их применение как настоящих синонимов.

Главная сущность этого метода как метода типологических исследований заключается в том, что сравнению или сопоставлению подвергаются не просто изолированно взятые формы языка, вне их дистрибутивных связей и отношений с другими его элементами, а формы как типовые модели системного, микросистемного характера в количественной и качественной соотнесенности их компонентов как в границах данной модели, так и в пределах всего языка в целом.

III. Как явствует из вышеизложенного, в сопоставительно-типологическом плане может исследоваться как один язык, так и несколько (минимум два) языков, родственных и неродственных. «Можно утверждать, что типологические изыскания возможны и в пределах даже одного и

² В. А. Богородицкий. Курс сравнительной грамматики индоевропейских языков (1890—1899). Казань. Тетр. I, стр. 5.

³ И. И. Мещанинов. Типологическое сопоставление и типология систем. — «Филологические науки», 1958, № 3, стр. 5.

того же языка, поскольку типологические или типизированные явления обнаруживаются в каком-либо одном или в одной группе диалектов одного и того же языка»⁴.

Цели и задачи анализа количественно-качественной соотнесенности различных типовых моделей в системе одного языка обуславливают применение сопоставительного метода в границах именно данного языка. Однако границы эти в хронологическом плане довольно относительны. Так, один из известных немецких германистов В. Флемиг, исследуя количественно-качественную соотнесенность различных синтаксических конструкций — финальных предложений с финальными конструкциями в немецком языке, исходит из двух хронологических срезов в развитии этого языка, именуемых им «1-я синхрония» (1760—1820) и «2-я синхрония» (1900—1920). Автор рассматривает эти типовые модели в той форме, в которой они встречались в различного рода речевых актах одного хронологического среза (1-я синхрония), и определяет их как реализацию определенной языковой системы. Аналогичное исследование, проведенное им в рамках второго среза (2-я синхрония), позволяет ему сопоставить полученные данные и прийти к выводу, что «сопоставление синхронных уровней дает возможность установить тенденцию развития, чему способствует последовательно диахронический характер исследуемого языка»⁵.

Работы подобного типа, в которых в сопоставительном плане рассматриваются определенные структурные модели одного и того же языка в его различные хронологические периоды, можно расценивать как синхронно-диахронные, поскольку исследованию подвергаются языковые системы, имеющие культурно-исторические, генетические и хронологические связи.

У советских германистов намечается стремление выявить в области современного немецкого языка взаимосвязь и взаимообусловленность иерархии уровней, установить и показать единую функциональную направленность структурно-семантических моделей по всем уровням языка, то есть проиллюстрировать взаимосвязь всех аспектов в системе языка. Это стремление находит свое выражение в переосмыслении известного в лингвистике понятия «семантического поля», в переносе этого понятия в область грамматики, что приводит к возникновению понятий «лексико-грамматического поля»⁶, «поля модальности», «поля времени», «поля исчисляемости» и т. д. Сопоставительный анализ всех языковых средств, выражающих одно общее понятие, скажем — времени, модальности, числа и так далее, дает лингвисту возможность выявить качественно-количественную соотнесенность соответствующих моделей и построить на базе этого сопоставительного анализа «поле» с ядром и периферийными формами выражения исследуемого понятия.

Сопоставительный анализ качественно-количественной соотнесенности, системной взаимосвязанности и взаимообусловленности типовых моделей в границах одного языка дает возможность более четко и твердо определять грамматическую сущность тех или иных языковых явлений.

⁴ Г. Д. Санжеев. Сравнительно-исторические и типологические исследования в алтаистике. — В сб.: «Лингвистическая типология и восточные языки». М., 1956, стр. 7.

⁵ W. Flämig. Untersuchungen zum Finalsatz im Deutschen (Synchronie und Diachronie). Akademie-Verlag, Berlin, 1964, стр. 6.

⁶ Е. В. Гулыга, Е. И. Шендельс. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке. М., 1969; Е. В. Гулыга. К вопросу о взаимосвязи уровней (языковые макро- и микрополя). — В сб.: «Лингвистика и методика». М., 1967; Н. И. Филичева. Структура словосочетания и синтаксическое поле. — В сб.: «Вестник Московского университета. Филология», 1971, № 3 и др.

Так, сопоставительное рассмотрение атрибутивных конструкций азербайджанского языка типа Ng+No (имя в родительном падеже+имя с полунулевым аффиксом притяжательности): *мәктәбин бинасы* с атрибутивным сочетанием типа Pg+No (притяжательное местоимение+имя с полунулевым аффиксом притяжательности): *онун китабы*, а также анализ грамматической соотнесенности компонентов внутри сопоставляемых моделей приводят нас к убеждению, что в обоих случаях связь компонентов внутри этих моделей определяется чистым **согласованием по притяжательности**, которая как грамматическая категория характеризует все имена тюркских языков (имя существительное, местоимение). Ср. *ата-м* 'мой отец', *китаб-ым* 'книга моя', *китаб-ын* 'книга твоя', *мән-им* 'мой (моя, мое)', *о-нун* 'его (ее)'. Аффикс притяжательности соотносится с аффиксом родительного падежа, их генетическая связь не подлежит сомнению. В атрибутивных сочетаниях, конкретизирующих отношение принадлежности по лицам (ср. *мәним атам*, *сәнин дәфтәрин*, *бизим дәфтәримиз*, *сизин дәфтәриниз*), наблюдается полное согласование притяжательности по лицам. Однако в 3-м лице ед. и мн. числа второй компонент этой модели выступает с полунулевым усеченным аффиксом принадлежности (ср. *о/н/ун китабы*, *о/н/ун ата/с/ы*, *о/н/ларын китаблары*).

Неполная согласованность в сочетании с именем в 3-м лице ед. и мн. числа выступает совершенно четко как нулевая ущемленная форма при противопоставлении этой модели в общем падеже остальным формам в косвенных падежах. Ср.:

<i>онун китабы</i> О (<i>китаб-ы</i> О)	<i>онун китабынын</i> (<i>китаб-ын-ын</i>)
	«—» <i>китабында</i> (<i>китаб-ын-да</i>)
	«—» <i>китабына</i> (<i>китаб-ын-а</i>)
	«—» <i>китабыны</i> (<i>китаб-ын-ы</i>)
	«—» <i>китабындан</i> (<i>китаб-ын-дан</i>)

Замена притяжательного местоимения любым именем существительным не изменяет картины согласования. Ср.:

мүәллимин китабы О
гузунун дәрис О
евин пәнчәрә/с/и О

В косвенных падежах этих нулевых форм совершенно регулярно будут выступать соответствующие показатели притяжательного согласования. Ср.:

<i>мүәллимин китабы</i> О	<i>мүәллимин китабын-ын</i>
	«—» <i>китабын-да</i>
	«—» <i>китабын-а</i>
	«—» <i>китабын-ы</i>
	«—» <i>китабын-дан</i>

Если в конструкции *о/нун китаб/ы* мы имеем неполное согласование по притяжательности, так как притяжательному аффиксу местоимения *о-нун* во втором компоненте соответствует полунулевой усеченный аффикс притяжательности *-ы-*, то в косвенных падежах этой конструкции аффикс притяжательности выступает четко, в полной мере отражая прозрачность агглютинативной структуры тюркского слова.

Сопоставительный анализ вышеприведенных структурных моделей дает возможность прийти к выводу, что в атрибутивных моделях

типа Ng+No—Pg+No выступает чистейший образец согласования по притяжательности. Аффикс второго компонента в этих моделях — *Ы* о можно определить как «ущемленный», «полунулевой» показатель согласования по притяжательности, выполняющий функцию согласования определяющего компонента с притяжательной формой. Свою полную реализацию этот аффикс получает в косвенных падежах данного компонента, что дает возможность построить пятичленный оппозиционный ряд на базе общего значения притяжательности.

Сопоставление структурных моделей, выражающих одно общее грамматическое значение, благодаря чему эти модели выступают как члены единой парадигмы, позволило выявить специфическую сущность исследуемых форм и их структурно-семантическую взаимозависимость, обусловленную общей типологией тюркских языков, в частности, азербайджанского.

Таким образом, становится очевидным, что для тюркских языков типично согласование по лицу, числу и притяжательности, поскольку все эти категории имеют ясно выраженную грамматическую оформленность. Согласования по падежам нет, ввиду отсутствия грамматической категории рода.

Сопоставление согласования, как единого типа связи слов в тюркских и, скажем, в индоевропейских языках, может служить яркой иллюстрацией, подтверждающей замечание И. И. Мещанинова: «Даже тогда, когда мы сопоставляем сходные построения, наличие которых обнаруживается в разных языках, мы устанавливаем в них те или иные отклонения, обусловливаемые использованием данного приема различными языковыми системами»⁷.

IV. Необходимость всестороннего рассмотрения системы типовых моделей языка и их качественно-количественной характеристики ставит вопрос о выявлении их специфики при сопоставлении с аналогичными формами других языков как родственных, так и неродственных. «Хотя сопоставительно-типологическое языкознание возникло прежде всего как описание языков, генетически между собой не связанных, многие проблемы и методы исследования в равной мере применимы и к языкам, принадлежащим к одной и той же генетической группировке»⁸.

Таким образом, при рассмотрении типологии языка его генезис и генетические связи с другими языками не играют существенной роли.

Универсальность, сходство типов структурно-семантических моделей в системе нескольких языков может рассматриваться как признак генетического родства (например, аналитические конструкции временных форм в английском и немецком языках, модель прошедшего категорического в тюркских языках и др.). Однако, даже при наличии одинаковых структурных моделей, количественно-качественный анализ исследуемых структур свидетельствует об их специфических особенностях, обусловленных спецификой различных путей развития каждого из этих языков.

Так, сопоставительное рассмотрение группы германских языков дало возможность исследователям выявить особое место, занимаемое немецким языком в системе остальных германских языков. В результате обстоятельного, синхронно-диахронного изучения системы падежей в германских языках известный шведский германист Ингерид Даль приходит к выводу, что «современный немецкий язык... в отношении своей

⁷ И. И. Мещанинов. Указ. раб., стр. 9.

⁸ «Структурно-типологическое описание современных германских языков». М., 1966, стр. 3.

морфологической структуры, отмеченной определенной архаичностью, занимает особое место среди всех современных германских языков... Современный немецкий язык сохраняет падежную систему древнегерманской эпохи, он сохраняет собственно индогерманскую систему падежей⁹. Сопоставляя систему падежей современного немецкого языка с аналогичными формами других германских языков в различные хронологические срезы их развития, автор отмечает, что «в истории развития немецкого языка наблюдаются тенденции различного характера: наряду с тенденцией к аналитическому строю имеется противоположная тенденция, направленная на сохранение и восстановление системы падежей»¹⁰.

Исследование, проведенное И. Даль на материале родственных германских языков, носит чисто типологический, синхронно-диахронный характер. Поскольку сопоставление языковых моделей и их структур направлено на выявление тенденций развития этих языков и их специфических отличий друг от друга, оно имеет не ретроспективный, а перспективный характер.

Генетически родственные языки, как известно, могут на некоторых своих уровнях (например, морфологическом) совпадать, а могут быть и совершенно различными, как это можно наблюдать при сопоставлении современных германских языков. Однако такие же явления отмечаются и в агглютинативных языках как генетически родственных, так и неродственных. Рассмотрение агглютинативных языков приводит исследователей к правильному выводу о том, что «типы агглютинативных языков многогранны, и историческое развитие агглютинативного способа соединения морфем во многом зависит от того, с какими другими способами соединения морфем он сочетается в данном языке»¹¹; и далее «нет агглютинации вообще с какими-то признаками, а есть варьирующая агглютинация в разных языках. Определение специфики будет зависеть от учета соотношения ведущего способа с другими способами, а это соотношение может быть в каждом языке своеобразным»¹².

Сопоставление системы наклонений в таких родственных по морфологическому строю агглютинативных языках, как узбекский и азербайджанский, выявляет ряд очень интересных особенностей, отличающих азербайджанский язык как от узбекского, так и от башкирского языков. В узбекском языке, например, форма условного наклонения на *-sa* по своей функциональной широте резко отличается от аналогичной формы азербайджанского языка. Ср.:

1) *-sa* — употребляется в значении нереального желания: *Kani endi hozir dadang bülsa* 'Если бы твой отец сейчас был здесь';

2) *-sa* — нереальное условие: *Men bülmäsäm kujingning järmü jükolar edü* 'Если бы не я, половина твоих овец погибла бы';

3) *-sa* — в значении реального действия: *Jotokka kajtib kelsa, jigitlar har jokka ketib kolis edü* 'Когда он вернулся в общежитие, оказалось, что парни уже ушли'¹³.

⁹ *Ingerid Dal. Systemerhaltende Tendenzen in der deutschen Kasusmorphologie.* — В сб.: «Das Ringen um eine neue deutsche Grammatik». Darmstadt, 1962, стр. 74.

¹⁰ Там же, стр. 74.

¹¹ Б. А. Серебренников. Причины устойчивости агглютинативного строя и вопрос о морфологическом строе языка. — В сб.: «Морфологическая типология и проблемы классификации языков». М., 1965, стр. 7.

¹² Там же, стр. 25.

¹³ Примеры и толкования формы на *-sa* даются по статье: Ю. Саидов. Формы глагола, выражающие нереальность в современном узбекском языке. — «Советская тюркология», 1971, № 1, стр. 50.

Как в первом, так и во втором случае узбекской форме на *-sa* (*būlsa*, *būlmasam*) в азербайджанском языке будет соответствовать форма прошедшего времени условного наклонения (*олсајды*, *алсајдым*), а форма на *-sa* в третьем случае найдет свой азербайджанский эквивалент в причастии настоящего времени с аффиксом местного падежа *кәләндә* (или *кәлдикдә*). Таким образом, в узбекском языке реальная и нереальная модальность условного плана, по-видимому, не дифференцированы соответственно средствами своего выражения и не могут быть противопоставлены друг другу в оппозиционном ряду на базе общего значения условной модальности. Этим узбекский язык отличается от азербайджанского, в котором наличествует четкое противопоставление форм условного наклонения в плане реальной и нереальной модальности. Ср.:

модель 1 *-sa/-sə* ————— *-ar/-əg* (*Вахтым олса, кәләрәм* 'Если у меня будет время, приду'),

модель 2 *-sa /idi* ————— *-ar /idi* (*Вахтым олса иди, кәләрдим* 'Если бы у меня было время, я бы пришел').

Аналогичное явление наблюдается и в башкирском языке¹⁴, где форма условного наклонения на *-һа* носит синкретичный характер, то есть может выражать как реальное, так и нереальное условие: Ср.: *Ат якшы булһа, сыбырткы кәрәкмәй* 'Если конь хорош, то кнут не нужен' — условие и следствие реальны. *Ике кулым канат булһа, барыр инем янына* 'Если бы мои руки были крыльями, я бы полетел к тебе'. Здесь та же форма на *-һа* выражает нереальное условие, чем и обусловлено нереальное следствие, выраженное формой *-ыр ине* (азерб. (^а)*p иди*), которую в башкирском языке именуют сослагательным наклонением¹⁵.

Сопоставительное рассмотрение генетически родственных языков со всесторонним синхронно-диахронным анализом количественно-качественного соотношения исследуемых форм, выявление специфических отличительных черт, свойственных структуре сопоставляемых языков, установление причин и закономерностей, обуславливающих эти языковые особенности, — все это будет содействовать выявлению общей типологии этих, хотя генетически и родственных, однако, зачастую по структуре резко отличающихся друг от друга языков.

V. Если универсальность, адекватность структур языковых моделей в системе родственных языков можно объяснить их генетической общностью, то аналогичные явления в разноструктурных языках могут рассматриваться как типологическая особенность этих языков, обусловленная воздействием импликационных закономерностей внутрилингвистического порядка. Так, например, широкое распространение причастных форм в тюркских и германских языках при наличии развитой системы вспомогательных глаголов обуславливает и определяет тенденцию к образованию аналитических конструкций в системе глагольных форм этих языков¹⁶.

Сходные явления в структуре разносистемных языков могут иметь место, как известно, и при контактном взаимодействии языков, и в этом случае можно говорить о факторе чисто ареального характера. При ис-

¹⁴ А. А. Юлдашев. Сложные предложения с придаточными условными в башкирском языке. — В сб.: «Исследования по синтаксису тюркских языков». М., 1962, стр. 35.

¹⁵ Там же, стр. 37.

¹⁶ Б. А. Серебренников. Указ. раб., стр. 17, 21. Автор обосновывает изложенный тезис применительно к тюркским языкам.

следовании таких языковых явлений ученый имеет дело с типологическим изучением языков как родственных, так и неродственных, развивающихся или функционирующих в условиях определенного контактирования между собой.

Исследование результатов воздействия одного языка на другой позволяет установить пути постепенного изменения системы языка, приспособляющегося к типологии другого языка. Сопоставительный анализ системы контактирующих разноструктурных языков раскрывает широкие возможности в области установления характера различных уровней языка, степени их «открытости» или «закрытости». Исследование ряда языков, проведенное в указанном плане, свидетельствует о том, что очень подвержен различным внешним влияниям синтаксис. Б. А. Серебренников отмечает, что в результате влияния различных индоевропейских языков синтаксис таких финно-угорских языков, как венгерский, эстонский, мордовский и коми-зырянский, приобрел типологические черты синтаксиса индоевропейских языков¹⁷. «Синтаксис гагаузского языка под влиянием болгарского языка приобрел некоторые славянские черты, например, глагол в гагаузском языке может не обязательно располагаться в конце предложения. Он может стоять в начале предложения»¹⁸.

Исследования, проведенные Ю. Неметом в области диалектов турецкого языка на Балканах, дают чрезвычайно интересную картину изменения языковых форм в результате воздействия фактора контактирования. Так, в османско-турецком диалекте, на котором в настоящее время говорит население маленьких глухих деревень в Югославии (недалеко от деревни Стари Бар), обнаруживаются явления, явно связанные с влиянием сербско-хорватского языка. В области синтаксиса автор, хотя и на очень ограниченном языковом материале (всего 53 предложения), обнаруживает заметные сдвиги в структуре предложения. Так, в конструкции с предикативом *var*, *var idi* вместо имени в притяжательной форме употребляется дательный падеж этого имени. Ср. *çöyliye var idi içi becir* 'у крестьянина были две лошади'. Порядок слов в предложении указывает на влияние славянских языков. Расположение членов предложения определяется следующим порядком слов: субъект, предикат, дополнение, обстоятельство. Ср. *çöyli çikaay cendinin beciriye le ovauçi* 'крестьянин вышел со своей лошастью на поле', *ava—dir cüz el* 'погода (есть) хорошая', *bular dırlar akıllı* 'эти (есть) умные'¹⁹. Влияние сербско-хорватского языка обнаруживается также и в области морфологии, хотя этот уровень языка считается наиболее «закрытым», то есть устойчивым к различного рода внешним воздействиям. Так, Ю. Немет обнаруживает сильное влияние сербско-хорватского языка в системе местоимений и частиц. Автор указывает на формы: *gu* — аккузатив сербского местоимения он (он), *te* — аккузатив сербско-хорватского местоимения ты (ты), проникшие в турецкий диалект Стари Бар. Ср.: *mehtubu yazdānma?* 'ты написал письмо?', *yazdām gu* 'я его написал'; или *şeytan te cütürsün* 'пусть дьявол тебя возьмет'. Вопросительная частица *-li* заимствована из сербско-хорватского языка. Ср.: *çelmiş-i-li ben?* 'пришел ли я?', *çelmiş-i-li sen* 'пришел ли ты?', *çeldi-li o* 'пришел ли он?'²⁰.

¹⁷ Б. А. Серебренников. Об относительной самостоятельности развития системы языка. М., 1968, стр. 32.

¹⁸ Там же, стр. 33.

¹⁹ Н. Агазаде. Рец. на J. Nemeth: Die türkische Sprache in Ungarn im siebzehnten Jahrhundert. — «Советская тюркология», 1971, № 1, стр. 106.

²⁰ Там же, стр. 105—106.

Если исследование Ю. Немета обнаруживает большое влияние сербско-хорватского языка на турецкий диалект Стари Бар в Югославии, то в работе Б. А. Серебренникова выявляются различные формы в грамматической структуре болгарского языка, заимствованные в турецком языке (пересказательное наклонение), а также наличие двух типов спряжения глаголов в системе прошедшего времени в осетинском языке, возникших под влиянием кавказского языкового субстрата, ибо в адыгейских языках также существуют два спряжения²¹.

Самая восприимчивая сфера для всякого рода иноязычных влияний, как известно, область лексики. Этот наиболее «открытый» уровень в системе языка является и наиболее изученным. Сопоставительное исследование степени «открытости»/«закрытости» различных уровней языка будет способствовать выявлению ведущего фактора в процессе развития и изменения общей системы языков.

Задачей типологического исследования, однако, является не только установление сходных, универсальных форм и конструкций в сопоставляемых разноструктурных языках, возникших в результате воздействия внутрилингвистических импликационных закономерностей или вследствие контактирования различных языков. В задачу таких исследований входит также и выявление отличительных свойств, характеризующих структуру исследуемых языков. Сопоставительное рассмотрение отдельных подсистем и микросистем как родственных, так и неродственных языков содействует разрешению более широких, более общих проблем как чисто типологического, так и общезыковедческого плана.

²¹ Б. А. Серебренников. Указ. раб., стр. 30).

Э. А. ГРУНИНА

К ИСТОРИИ СЕМАНТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРФЕКТА $-mi\check{s}$

В развитии той или иной грамматической категории представляет интерес не только формальное изменение ее компонентов, но и эволюция их семантического потенциала, особенно в тех случаях, когда форма выражения остается неизменной на протяжении длительного периода истории развития языка.

Анализ семантического развития формы должен опираться на текст, способствующий установлению звеньев в реализации формы, которые постепенно могут привести к сдвигам в ее системном положении. Однако сами тексты не всегда можно толковать однозначно, следует учитывать преобладание письменной традиции памятников разных периодов, диалектную базу письменного языка, степень расхождений с общеразговорным языком и т. д. Поэтому вспомогательным приемом анализа семантической и функциональной эволюции формы может служить типология семантической структуры рассматриваемой микросистемы или ее отдельных подгрупп в родственных языках.

Если для синхронного описания взаимоотношений перфекта с другими элементами индикатива выход за пределы одного языка необязателен, то задачи диахронического изучения нельзя решить, не уяснив некоторых типологических особенностей развития данной формы в тюркских языках. Основной особенностью исторического периода развития индикатива в тюркских языках (т. е. периода, зафиксированного памятниками, в которых с разной степенью полноты дана реализация формы) является часто наблюдаемая неизменность форм и состава отдельных подгрупп индикатива (в частности, это относится и к группе претерит-перфект-плюсквамперфект). Однако функционально-семантический анализ позволяет обнаружить эволюцию, для понимания которой важны как типологические особенности в развитии системы времен в языках вообще, так и в тюркских в частности. Поэтому необходимо определить, что именно в изменении формы обусловлено общими для всех тюркских языков закономерностями в развитии индикатива, что — конкретным соотношением формы с его другими элементами (иначе говоря, конфигурация соотношений в указанной подгруппе трех форм в разных тюркских языках может оказаться различной: так, в функционально-семантическом плане перфект выявляет различия даже в близкородственных языках, примером чего может служить положение $-mi\check{s}$ в турецком и азербайджанском, $-gan$ в татарском и узбекском языках и т. д.). Важно также определить, что в семантическом потенциале формы и его реализации обусловлено внешними нормами (спецификой письменного языка, его функционально-стилистическим расслоением и т. д.).

В современных тюркских языках индикатив характеризуется рядом общих черт как в семантической структуре, так и в формальном наборе его элементов. Одним из таких участков, где соотношения элементов составляют общую черту большинства тюркских языков, является группа претерит (-*di*) — перфект (разная форма или набор форм по отдельным группам языков) — плюсквамперфект (аналитическая форма, формально связанная с перфектом)¹.

Если элемент -*di* представляет собою общетюркское достояние, то различие в формах перфекта в разных тюркских языках указывает на более поздний этап в развитии системы времен индикатива. Это звено дифференцирует тип указанной подгруппы трех форм и своей функционально-семантической модификацией определяет направление семантических сдвигов и конфигурацию ее внутренних связей. Исторически эта микросистема была двучленной (простое прошедшее — перфект), так как парадигма вспомогательного глагола повторяла в аналитических конструкциях систему соотношений простых форм. Грамматикализация аналитических конструкций, являющихся в своей основе тип перифразы, или шире — конструкцию способа действия, приводила к сочетанию иных внутренних связей с простыми формами, результатом чего явилось возникновение подгруппы претерит-перфект-плюсквамперфект². Этот же процесс привел и к исчезновению конструкции -*di*+*e(r)* *di*, сохранившейся как элемент индикатива преимущественно на периферии ареала тюркских языков (турецкий, гагаузский, в реликтовых сочетаниях — в якутском языке³). В турецком языке, где -*diydi* является элементом индикатива, оно по своим соотношениям с -*di* и перфектом не выходит за функциональную зону плюсквамперфекта, хотя и имеет меньший семантический потенциал. Иначе говоря, при формально четырехчленном составе указанной подгруппы в ней сохраняется тот же набор признаков. В свете функционально-семантических связей, отмечаемых в указанной подгруппе, может рассматриваться и система индикатива в ряде сибирских языков, где плюсквамперфект формально не представлен.

При подробном анализе перфект может быть рассмотрен отдельно, но обязательно на фоне его связей с другими формами указанной подгруппы индикатива. Отношения перфекта с другой подгруппой (имперфективных форм) как менее существенные для его характеристики в данном случае не рассматриваются.

К формам перфекта в тюркских языках отнесены: -*miš* в юго-западной группе, -*byt* в якутском, -*gan* в остальных языках, -*an(-dyr)* в туркменском, -*upty(r)* в среднеазиатском ареале и сибирских языках, функционально близкая им -*an turar* в якутском языке.

Определение семантического потенциала формы и ее отношений с другими элементами связано с общим принципом моделирования форм индикатива, которые принято рассматривать как единую систему, организованную вокруг момента речи (МР). Понятие МР как референтного соотношения описываемого события с описывающим его актом речи⁴ и

¹ Здесь мы не касаемся вопроса о приемлемости данных терминов, употребляемых в известной степени условно, так как выбор одного из многочисленных терминов, принятых в тюркологических работах, требует обоснования и соответствующего специального разбора.

² Б. А. Серебренников. Сосуществование перфекта и плюсквамперфекта как лингвистическая универсалия. — «Ученые записки НИИ при Совете Министров Чувашской АССР». Чебоксары, вып. XXXIV, 1967, стр. 131.

³ Е. И. Коркина. Наклонения глагола в якутском языке. М., 1970, стр. 113, 129.

⁴ Э. Бенвенист. О субъективности в языке. — «Общая лингвистика». М., 1974, стр. 296.

его проекций на линию времени обуславливает существование разных функционально-речевых сфер (диалогической или синхронной речи, сферы повествования о прошлом и др.)⁵. Ведущей функционально-речевой сферой является сфера диалогической речи, поскольку она охватывает весь инвентарь индикатива. Сферы исторического и недейктического повествования (-транспозиция исторического повествования в область МР) охватывают лишь определенный круг форм. Реальное функционирование в речи системы временных форм чаще всего совмещает разные функционально-речевые сферы. Для перехода от одной к другой язык располагает определенными сигналами (соответствующая функция временной формы или средства контекста). Существование функционально-речевых сфер предполагает их внутреннее членение, опирающееся на жанрово-стилистическую дифференциацию речи, которая входит условием в речевую реализацию языковых элементов.

Реализацию форм как элементов функционально-речевых сфер следует отличать от их внутрисистемных связей. Из возможных принципов моделирования представляется целесообразным принять принцип группирования форм по грамматическим осям⁶, или временным рядам (ретроспективная ось, или ряд прошедшего — в турецком языке соответственно *-iyordu, -mekteydi, -irdi, -mişti, -diydi*; примарная ось, или ряд настоящего — *-di, -miş, -iyor, -mekte, -ir*; проспективная ось в ретроспекции, или ряд будущего в прошедшем — *-ecekti*, проспективная ось, или ряд будущего *-ecek*)⁷. Внутри временного ряда формы организованы отношениями взаимной последовательности (предшествование-одновременность). Примарная и ретроспективная оси являются ведущими, так как на их основе организуется соответствующая функционально-речевая сфера. Свойство временных форм индикатива указывать на способ, которым говорящий раскрывает перспективу протекания действия (имперфективность, перфективность), что в зависимости от исходной концепции может считаться проявлением темпоральных свойств системы, здесь рассматривается как синхронно-функционирующее наложение двух категорий — времени и аспекта. При анализе системы индикатива следует учитывать, что ряд основ времени может выступать одновременно и в функции формы слова (глагольное имя), что заложено в генезисе личной формы. Синхронное функционирование оморфного глагольного имени (причастия) и основы времени имеет рефлексом в последнем неакциональное выявление действия как свойства (функция актуализации не процесса, а субъекта действия). В определении функций и семантического потенциала элементов индикатива, таким образом, следует исходить из их системных признаков: отнесенности к временному ряду, позиции формы в отношении других форм временного ряда (темпоральная характеристика), перфективности/имперфективности (аспектуальная характеристика), отделяя их от условий речевой реализации — соотносительности с МР (актом коммуникации) или с дополнительным моментом

⁵ О выделении «типов речи» (Diskurstypen) — группировке форм времени в речевой реализации см.: L. Johanson. Aspekt im Türkischen. Uppsala, 1971, стр. 76.

⁶ M. E. Bull. Time, Tense and the Verb. Berkley and Los Angeles, 1960, стр. 23.

⁷ Возможность передачи формой будущего модальных значений настоящего («модус ожидания» — желание, намерение и др.) нередко обуславливает или выведение этой формы за пределы индикатива, или рассмотрение ее как формы презентного ряда. Выделение *-ecek* (соответственно *-ecekti*) как самостоятельных временных рядов основывается на том, что темпоральная функция формы будущего (ее первичность или вторичность по отношению к модальной функции — другой вопрос) требует сравнения ее с другими, толкуемыми темпорально, формами на основании гомогенности признака.

ориентации; способности изолированного или связанного употребления (в составе сложного синтаксического целого).

На основе вышесказанного попытаемся дать определение наиболее существенных черт современного функционально-семантического потенциала перфекта -*miş* в юго-западных языках, используя в качестве модели перфект турецкого языка. Для его характеристики, как уже указывалось, наиболее важными оказываются его связи с простым прошедшим временем и плюсквамперфектом.

Основанием для сравнения всех указанных форм является их предшествование МР, что имплицитно определяет их свойства как форм предшествования в своих временных рядах.

В сфере диалогической речи подгруппа трех форм «претерит-перфект-плюсквамперфект» объединяется общим темпоральным признаком предшествования МР. Значение состояния, одновременного МР, в перфекте определяющееся, как правило, лексическим значением глагола (ср. азерб. *дурублар* 'вон они стоят'), возможно не для всех форм перфекта (например, для турецкого -*miş*). Значение состояния в перфекте всегда выступает как реализованное, и релевантным для формы является именно эта реализация, предшествующая МР (признак предшествования обычно имплицитно значим перфективностью, но может выявляться и самостоятельно при нейтрализации аспектуального свойства формы — например, в функции пересказывательного претерита).

Принадлежность форм к разным временным рядам определяет характер их ориентации к МР: форма плюсквамперфекта оказывается разобщенной, дистанцированной от МР и ориентированной от него⁸. Формы перфекта и -*di* ориентированы к МР.

Ориентация плюсквамперфекта от МР реализуется как указание на изолированный факт прошлого, дистанцированный от МР (такое употребление характерно для азербайджанского -*mişdi*: на вопрос «Где вы были вчера?» — *Киноја кетmişdim* 'Ходил в кино'; для турецкого -*mişti* употребление в сфере МР в таком случае ориентировано на другое действие, или какой-либо другой пункт ориентации, содержащийся в ситуации: *Sizi uzun boylu sanmıştım...* 'Я думала, вы высокого роста...'). Момент ориентации в данном случае скрыт в ситуации ('а вы, оказывается, невысокий'). Употребление вне подобной соотнесенности (см. приведенный выше пример из азербайджанского языка) для турецкого языка оказывается в сфере МР невозможным, если только данная форма не выполняет функцию сигнала о переходе в сферу исторического повествования: *Ha, hatırladım. Bir gün Ferhunderdeki ufak bir toplantiya gitmiştim. Gece bırakmadılar* (Н. Тагер) 'А, вспомнила! Пошла я однажды на вечеринку к Ферхунде. Вечером они меня непустили...'

Принадлежность плюсквамперфекта к ретроспективной оси проявляется в его функционировании в сфере повествования: постоянным остается лишь признак предшествования ретроспективному моменту ориентации, контактное или дистантное расположение по отношению к моменту отсчета выявляется контекстуально. По признаку перфективности форма плюсквамперфекта не маркирована, поэтому она может выступать и как претерит (ср. указанную выше функцию перехода к повествованию), и как перфект, актуализируя не само действие, а его отношение к другому действию в рамках сложного целого, которое может быть син-

⁸ Иногда этот признак рассматривается как «углубленность временного фона», хотя ретроспективная ориентация связана с разными функциями.

таксическим и смысловым единством двух предложений или отрезка текста («ситуационного типа»⁹).

Определение круга функций плюсквамперфекта при анализе перфекта представляется необходимым потому, что исторически ряд функций перфекта перешел к плюсквамперфекту, и степень этого перехода в тюркских языках выявляется по-разному.

Итак, для плюсквамперфекта могут быть отмечены функции:

1. Функция соотнесения действия с дейктическим моментом ориентации (позиция предшествования в любой функционально-речевой сфере).

2. Функция ретроспективного отнесения действия от момента ориентации (функция регресса). Эту функцию можно толковать в аспектуальном смысле: а) значимость действия самого по себе (значение изолированного факта). Ср. тур. *Kardeşim misafir geldi. Geçen sene de gelmişti* 'Брат приехал в гости. Он и в прошлом году был'; ср. также приведенный выше азербайджанский пример; б) значимость действия для момента ориентации (связанное значение формы, ориентирующее ее на дополнительный момент ориентации, не совпадающий с дейктическим моментом отсчета). Ср. вышеприведенный пример: *Sizi uzun boylu sanmıştım...* В этом случае можно говорить об относительной функции формы. Как указывалось выше, она неоднозначно представлена в родственных языках, что связано с различиями в функциях перфекта.

3. Значение изолированного факта связано с функцией сигнала о переходе в сферу повествования. Выстроенные в динамическую цепь несколько форм в плюсквамперфекте дают в этом случае так называемое побочное повествование (-функция претерита). Стилистическое развитие сферы повествования выявило для плюсквамперфекта функцию маркирования начала или конца ситуационного отрезка.

4. Значение актуализации действия для другого выявляет функцию отношения — причинно-следственной связи двух действий. Ср. *Kadının içimden geçenleri okuyuşuna şaşıtm. Hayatımda ilk kez anlayışlı bir insan görmüştüm* (Nesin) 'Я удивился, как эта женщина читала в моей душе. Я впервые в жизни видел человека с таким пониманием'.

Принадлежность перфекта и простого прошедшего времени к примарной оси (временному ряду настоящего) обуславливает их ориентацию к МР и соответственно функционирование в сфере диалогической речи в своих системных значениях (предшествование и ориентация к оси). При общей позиции их различие здесь прослеживается в двух планах. Перфект выявляет наиболее рельефно аспектуальное значение перфективности, то есть актуализации последствий действия для пункта ориентации. Этот признак в перфекте позволяет отнести его как непосредственно к моменту речи: *Bunu güzel çizmişsin* 'Ты это хорошо нарисовал' (здесь рассматривается результат работы, в процесс которой говорящий не был включен), так и к другому действию: *oturmuş dinleniyor* 'сидит, отдыхает'.

В турецком языке *-miş* в изолированном употреблении выявляет перфективность преимущественно как результат действия, констатируемый в МР визуально или на основании чувственно воспринимаемого источника (тип: *Hiç değişmemişsin* 'Я смотрю, ты совсем не изменился').

⁹ Э. Кошмидер. Турецкий глагол и славянский глагольный вид. — «Вопросы глагольного вида». М., 1962, стр. 384. Вопрос о выделении единицы для объяснения функционирования временных форм большей, чем предложение, нуждается в лингвистическом обосновании.

Другие проявления перфективности — актуализации атрибутов действия сильно ограничены (например, азерб.: *университети гуртармышам* 'я окончил университет' возможно лишь с модально-экспрессивным оттенком, *миш учун кэлмишик* 'мы пришли по делу' невозможно вообще).

Свойство перфективности в формах индикатива имеет оппозитивное проявление в неперфективности, или аористичности, под которой понимается способ представить действие само по себе в его целостности и нерасчлененности. Реализация свойства перфективности как изолированного факта сближает формы перфекта с претеритом, при этом системное различие между ними стирается, сохраняясь только в области синтагматики и распределения по функционально-речевым сферам.

Значение изолированного факта может проявляться двояко: в функции актуализации (факт как характеристика отношений действия) и в нейтральном значении (наиболее близком к значению претерита).

Значение изолированного факта прошлого, изъятюго из динамики ситуации и значимого для акта коммуникации, в современном турецком -miş практически не представлено. Ср. невозможность употребления типа азерб. *Дүнән сәни јухумда көрмүшәм* (Анар) 'Вчера я видел тебя во сне'. Это значение передается через -di, область употребления которого расширена за счет функциональной сферы перфекта.

Соотнесенность перфекта с другим действием с сфере МР (функция отношения) отмечается в ограниченном типе конструкций, выступающих как сложное синтаксическое целое, так как перфект выявляет свою значимость лишь в его составе. Например, на вопрос: 'Приехал ли N.?' следует: *Gelmiş, dün görüştük* 'Приехал, мы вчера виделись'. Для турецкого языка имеет значение не только совместное употребление двух глаголов, но и их позиция — обязательное предшествование -miş. В турецком невозможно свободное употребление азерб. -мыш типа: *Сулейман! эл бу саат Еревана јола салдым. Беш мин манат да пул вермишәм* (М. Ибраһимов) 'Вот только что проводил Сулеймана в Ереван. И пять тысяч рублей дал ему'.

Свободное употребление перфекта в значении изолированного факта стирает парадигматическое различие между -di и -miş.

Функционируя в сфере повествования, -miş и -di утрачивают свою позицию по отношению к ретроспективной оси, то есть выступают как формы одновременности, а не предшествования. Это и создает важное противопоставление *ijordu:di* по аспектуальности (имперфективность)¹⁰ при общности их позиции. Функционирование же -miş в сфере повествования ограничено и обуславливается конструкцией (вхождением в состав сложного синтаксического целого). Ср. тур. *Baktım gitmiş* 'я взглянул: его уже не было', азерб. *она ејле келирди ки, ону һарада исә көрмүшдүр* 'ей казалось, что она его где-то видела'.

Другое различие между перфектом и -di связано с модальным развитием первого. Для форм перфекта в разных тюркских языках имеет значение источник информации о событии: первичный (личное знание) и вторичный (неличное знание). В последнем значении перфект -miş функционально тяготеет к особой системе форм (категория пересказывательного наднаклонения), куда он входит как претерит, нейтрализуя значения перфекта и плюсквамперфекта.

Признак, определяющий действие в перфекте, является рефлексом старой оппозиции по включенности/невключенности говорящего в дей-

¹⁰ См. детальную разработку этой проблемы в упоминавшейся работе Л. Йохансона.

ствие, которая сохраняется в языках, занимающих окраинное положение в ареале тюркских языков (турецкий, якутский, тувинский), и определяет интенсивность проявления перфекта как модальной формы. Типология перфекта в тюркских языках такова, что его развитие в сторону претерита приводит к возникновению модальной функции (так называемая «заглазность» или «неочевидность», становящаяся зачастую не системным, а лишь контекстуальным свойством формы). Причина этого — в устойчивом сохранении общетюркским претеритом своих свойств, что при семантических сдвигах в перфекте ведет к противопоставлению обеих форм по признаку невключенности говорящего в действие (процесс реставрационной инновации), причем модальная специализация формы может охватить и претерит (ср. парадигматический признак включенности в тувинском *-ди*). Сдвиг перфекта в сторону претерита влечет за собой и сужение функциональной сферы последнего. Эта тенденция вообще отчетливо заметна в некоторых сибирских языках (ср. свертывание претерита *-ди* в чулымском языке, ограничение *-ди* функциями «недавнoproшедшего» в якутском, где функции претерита отчасти приняла вторая форма перфекта *-быт*+аффиксы принадлежности).

В перфекте указанных языков при разнородности признаков ведущим оказывается аспектуальный признак перфективности, если модальную функцию пересказывательности рассматривать за пределами индикатива. Если признак вторичности источника включать в семантический потенциал формы, то иерархически стоящим над другими признаками выступает модальный признак, что в принципе закономерно вследствие соотношения категорий наклонения и времени.

Таким образом, перфект *-miş* как форма ориентации действия к грамматической оси во всех функционально-речевых сферах направлена к МР или его проекциям. Содержание этой направленности определяется аспектуальным свойством, являющимся главной различительной чертой для *-di* и перфекта.

Признак аспектуальности в перфекте (перфективные значения) в разных языках выявляется с различной интенсивностью, определяемой степенью модальной нагрузки формы. В тех тюркских языках, где имеет место дифференциация перфективных форм по признаку модальности (выделение Перфекта I, так называемого прошедшего субъективного), в «модальной» форме перфекта происходит сужение его аспектуального содержания во всем объеме и остается перфективное значение результативности (см. выше). В одноперфектных языках аспектуальное содержание формы, как правило, реализуется в широких границах перфективности.

В турецком *-miş* модальный признак имеет тенденцию однозначно ограничивать проявление аспектуальности: знание, основанное на личном опыте > перфективность, знание, основанное на неличном опыте > нейтрализация аспектуальности. Эта тенденция не проявляется с абсолютной полнотой (есть различия по лицам). В формировании указанной тенденции условие выявления аспектуальности — инклюзивность или эксклюзивность говорящего в сам факт развития действия, в его динамику, которое в формах с высокой интенсивностью проявления аспектуального признака перфективности большей частью для перфекта нерелевантно — в турецком перфекте направлено на то, чтобы стать постоянным признаком формы.

В азербайджанском языке при наличии двух форм перфекта модальное значение личного знания не связано причинно с выявлением признака аспектуальности (широкая интенсивность выявления этого значения).

Это различие в семантике перфекта в обоих языках отразилось и на его отношениях с другими формами микросистемы трех форм: если в турецком языке *-miş* имеет тенденцию стать отмеченной формой, расширяя тем самым аспектуальное содержание *-di*, то в азербайджанском, наоборот, аспектуальное содержание *-di* свелось к аористичности (действие в динамике).

Типы выявления модального и аспектуального признаков связаны с их распределением по разным формам. При наличии в языке двух форм перфекта семантический и функциональный объем этой формы распределяется нижеследующим образом. Форма, выступающая в значении констатируемого результата, обычно связана с выражением пересказывательной функции (функция модального претерита), причем зачастую и в ее эмфатическом аспекте (тип перфекта *-ипти* в среднеазиатском ареале, та же форма в тувинском языке, перфект *-быт*+аффиксы сказуемости в якутском языке и др.). Обычно в тюркологической литературе эта форма называется «прошедшим субъективным», «прошедшим повествовательным», «прошедшим заглазным» и т. д. Для удобства этот тип функционирования будем называть «Перфект I». Форма перфекта, выступающая в этом случае в преимущественной функции актуализации и изолированного факта (Перфект II), представлена в тех же языках соответственно формами *-gan*, а в якутском — *-ан турар*. Для Перфекта II при наличии двух форм в функциональной зоне перфекта характерна нерелевантность модальных проявлений. Функция претерита как формы динамического повествования для Перфекта II не характерна (в некоторых разновидностях речи она может быть представлена в 3-м лице).

В языках с одной формой перфекта (весь северо-западный ареал) указанные функции совмещаются в ней, и собственно пересказывательной формы здесь нет (модальный и аспектуальный планы в синхронии находятся в относительном равновесии в зависимости от контекста).

Юго-западные языки, такие, как турецкий, гагаузский и азербайджанский, по типу функционирования перфекта близки к одноперфектным, хотя в турецком и азербайджанском есть и вторая перфектная форма (соответственно *-miştir* и *-ыб*). Однако если турецкая форма *-miş* являет собою функциональный тип Перфекта I, то вторая форма перфекта *-miştir* в основном выступает как форма передачи изолированного факта с небольшой частотностью в 1—2-х лицах, то есть это своего рода недоразвившийся Перфект II (что объясняется его структурой). В азербайджанском языке обе формы перфекта выступают как синонимы (парадигма формы *-ыб* ущербна, так как в ней не представлено 1-е лицо и отсутствует соотносенная аналитическая форма типа среднеазиатской *-ыб эди*). Действительно, распределение функциональной зоны перфекта происходит таким образом, что *-миш* выступает и как Перфект I, и как Перфект II (для азербайджанского перфекта *-миш* особенно характерна функция актуализации субъекта и атрибутов действия, этим азербайджанское *-миш* прежде всего отличается от *-miş* турецкого). Тип актуализации субъекта в турецком перфекте, как было сказано выше, имеет ограничения, связанные с эмфазой и лексическим значением глагола (подразумевающим чаще всего инактивность субъекта, например: *1930 yılında doğmuşum* 'я родился в 1930 году', *yorulmuşum* 'я устал').

Система индикатива современного туркменского языка в плане анализируемой функциональной зоны оказалась в области влияния другого языкового союза и в области перфекта представлена среднеазиатским

типом: формы *-yptyr* и *-an (dyr)*. Форма на *-miş* как элемент индикатива отмечена лишь в памятниках литературного языка донациональной эпохи.

Якутский язык обнаруживает своеобразие в организации функциональной зоны перфекта: помимо Перфекта I и Перфекта II, в нем есть еще одна форма, отличающаяся от Перфекта I своей структурой: основа *-быт* принимает не аффиксы сказуемости, а аффиксы принадлежности. Структура формы, близкая к претериту, а также распределение функций группы претерит-перфект-плюсквамперфект здесь сказались в том, что *-быт* + аффикс принадлежности («преждепрошедшее повествовательное») «разделило» функции претерита и предпрошедшего¹¹.

Особенностью формальной структуры перфекта в современных языках является то, что в основе его лежат две конструкции: причастная и глагольная (с использованием глагола-модификатора *tur-*), а также наличие на периферии функциональной зоны перфекта конструкций типа *причастие (глагольное имя) + йоқ* (в якутском сохранилась та же конструкция с *баар*) и *причастие + именное отрицание* (типа *-miş değıl, -ган эмас*). Для перфекта в ряде языков характерной особенностью является также отсутствие соответствующей «правильной» формы отрицания, роль которой выполняет другая парадигма. Ср. казах. *-ган жоқ* + аффикс сказуемости, туркм. *-мандыр* для формы *-ыптыр*, якут. *-батах* к форме *-быт*, та же черта отмечена в истории тюркских языков (ср. в ен.-орх. *-tadiq* при *-miş*, в половецком отрицательная форма настоящего времени *-майыр* для *-ыптыр* и др.).

Изучение семантической структуры индикатива в его развитии на протяжении истории отдельного языка предполагает использование ряда рабочих гипотез:

1. Дотемпоральное состояние индикатива, с одной стороны, было связано с наличием системы предикативных (полифункциональных)¹² имен, выступавших с регулярной предикативной функцией, с другой — их группировка была связана с лексико-грамматической характеристикой глагольных основ. Глагольные имена в тюркских языках представляют разную градацию формообразовательных возможностей. Вовлечение определенного глагольного имени в сферу регулярного предикативного использования обычно взаимосвязано с его функционированием как имени действия ~ причастия. Если судить по относительно новым формам в системе индикатива (типа тур. *-ecek*), их активизация как формообразовательных элементов начинается с использования в непредикативной функции. Потенциальные глагольные имена в этом случае первоначально выступают в значении действующего лица и имени места¹³. Не всякое глагольное имя становилось личной формой, но если такой процесс имел место, то и свертывание формы также начиналось с глагольно-именных функций (примером может служить положение глагольного имени *-р* в ряде языков). Многочисленность лексических единиц, вошедших в словарь на основе того или иного глагольного имени, непродуктивного на современном этапе, свидетельствует о былой продуктивности данной модели прежде всего как элемента формообразования. При этом значение признака действующего лица, названия процесса или его результата говорит и о возможном предикативном употреблении формы.

¹¹ Е. И. Коркина. Указ. раб., стр. 75.

¹² И. В. Кормушин. Категория времени в истории алтайских языков (рукопись).

¹³ Э. В. Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. М., 1962, стр. 422.

Дотемпоральная система предикативных имен была связана с глагольным словообразованием: в древних синкретичных аффиксах сочетались три функции: глагольного словообразования, формообразования (предикативное имя) и древнего залога. В первичных предикативных именах типа *-*γ*, *-*q*, *-*č*, *-*n* прослеживается связь с более поздней системой собственно залога. Рефлексы этой связи обнаруживаются во вторичных предикативных именах, зафиксированных уже в историческую эпоху в составе ряда глагольных имен и форм индикатива.

Вторичные предикативные имена могут рассматриваться как фузионные образования (очевидно, такое происхождение имеет *-miš*¹⁴), или как результат стяжения древнего причастного аффикса с модифицирующим показателем (такая возможность усматривается в показателях *-duq*, *-juq*, *-suq*¹⁵).

Вторичные предикативные имена (типа *-miš*, *-duq*, *-gan*), сменившие общетюркские древние предикативные имена *-*γ*, *-*q*, *-*n*, *-*č* и другие, сохраняли тенденцию возникновения темпоральной формы: в ее истоках имелось значение признака как способности, склонности к осуществлению действия.

2. В числе именных конструкций, кроме причастной (предикативное имя + аффиксы сказуемости), в становлении темпоральной системы сыграла роль конструкция *глагольное имя + bar/joq*, в свою очередь, вероятно, восходящая к конструкции с глагольной связкой **ba-r* ('существует' > 'имеется')¹⁶. Конструкция с *bar* сохранилась в современном якутском языке, в большинстве тюркских языков существуют конструкции с *joq*, причем в некоторых языках (в языке чулымских тюрков, у желтых уйгуров) только они передают отрицание в формах некоторых времен. Семантическая основа сохранения отрицательной конструкции более старой модели связана с тем, что отрицание частично нейтрализует план содержания, а это приводит к нейтрализации в плане выражения.

Древняя модель *предикативное имя + bar* первоначально выступала как 'быть' || 'быть кем-либо или чем-либо'. Отзвуком такого употребления, очевидно, является тип конструкции, отмеченный в рунических памятниках: *бай бар әртим* 'я был богатым'¹⁷. Это же свойство имеет и другой глагол бытия *-e(r)-*, который в древнетюркском выступал и как самостоятельный глагол, и как глагол-модификатор, и в конечном итоге сохранился лишь как глагольная связка.

Конструкция *предикативное имя + bar*, как и в других языках, обнаруживала свойство древнего перфекта как формы состояния, связанного с обладанием: 'быть у'¹⁸.

Поэтому в конструкции *предикативное имя + bar* оказалось возможным появление и морфологических элементов обладания — аффиксов принадлежности. Конструкция с **ba-r* была в принципе той моделью способа действия, которая впоследствии заняла значительное место в развитии системы индикатива в тюркских языках. Место общеалтайского **ba-* затем заняли другие глаголы, функция модификации в которых засвидетельствована в памятниках и сохранилась также в современном состоянии тюркских языков: глаголы *e(r)-*, *tu(r)-*, *ju(r)-*, *jat-* и др.

¹⁴ А. Н. Кононов. Турецкая глагольная форма на -miš. — «Ученые записки МГУ. Серия филологических наук», 1938, № 20, вып. 1.

¹⁵ Г. И. Рамstedт. Введение в алтайское языкознание. М., 1957, стр. 147.

¹⁶ В. Когвич. Исследование по алтайским языкам. М., 1962, стр. 280.

¹⁷ С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. М.—Л., 1953, стр. 84.

¹⁸ Э. Бенвенист. Глаголы «быть» и «иметь» и их функции в языке. — «Общая лингвистика». М., 1974, стр. 217.

Гипотеза о существовании древнего причастия на $-(j)^{\circ}b^{\circ}n$, возникшего на основе деепричастия + общеалтайский глагол b° 'быть'¹⁹, позволяет объяснить возникновение перфекта на $(^{\circ})ptur$ в истории тюркских языков как реперфективацию старой формы перфекта²⁰, где повторилась структура модели, но с глаголом *tur*-. Если иметь в виду, что глаголы *er*- и *tur*- как глаголы-модификаторы благодаря их роли в развитии индикатива оказались своего рода водоразделом между некоторыми группами тюркских языков, то возникновение перфекта на $-(^{\circ})ptur$ характеризовало уже период расчлененности общетюркского. Функциональная близость *-miš* и $-(^{\circ})ptur$ как Перфекта I, возможно, и обусловила то обстоятельство, что в письменных языках древнетюркского периода (енисейско-орхонские и древнеуйгурские памятники) нашла отражение лишь форма *-miš*. Форма $-(^{\circ})ptur$, принадлежащая к иной диалектной группировке, в данном койне уже не могла найти себе места. Ее появление в среднеазиатских памятниках XIII—XIV вв. указывает лишь на смену диалектной базы в письменном языке. Вместе с тем эта форма входила здесь в систему средств письменного языка, который еще сохранял перфект на *-miš*, поэтому функции $-(^{\circ})ptur$ были ограниченными не в силу недостаточного развития, а по причине конкуренции двух функционально однозначных форм. Косвенным подтверждением этого служит наличие двух парадигм формы $-(^{\circ})ptur$ в 1-м и 2-м лицах: $-(^{\circ})pmän$ и $-(^{\circ})pturmäñ$. Вторая из них появлялась благодаря претеритальной функции формы и служила средством реперфективации. Сама эта возможность обусловлена продуктивностью в большинстве тюркских языков конструкций способа действия с глаголом *tur*-. В среднеазиатском ареале $-(^{\circ})ptur$ (Перфект I) и *-gan* (Перфект II) вытеснили *-miš*. Форма на *-miš* в среднеазиатском тюрки — лишь отзвук прежней письменной традиции. Интерференция $-(^{\circ})ptur$ в огузском ареале имела разные последствия: в азербайджанском языке эта форма вошла в систему индикатива как синоним *-миш* (но с более узким кругом функций и определенной дифференциацией по жанрово-стилистическому проявлению). В анатолийском письменном языке XIII—XIV вв., ориентировавшемся на восточноогузскую диалектную базу, перфект *-ubdur*||*-ubdurur* хотя и отмечен, но выступает достаточно редко и в основном в форме 3-го лица.

Наиболее ранние письменные памятники зафиксировали время на *-miš*, обнаруживавшее различия в енисейско-орхонских и древнеуйгурских памятниках, что уже отмечалось в литературе. Положение *-miš* в енисейско-орхонских памятниках свидетельствует о достаточном семантическом и функциональном развитии формы, выступающей здесь как пересказывательный претерит. Типология семантического развития перфекта говорит о том, что *-miš* здесь уже прошел начальные стадии развития перфекта. На это указывает употребление *ärmiš* (правда, в группе енисейских памятников). Например, Буца Чи(к)сиң бән бәң(г)үм әрмиш (Малов. Ен. пам., 36) 'Я печальный Чиксин! (Это) мой вечный памятник'; Бағым будунымка адырылт(ым). Ар бәңкүсі бу әрмиш (Малов. Ен. пам., 52) 'Я отделился от моего народа, моего родового подразделения. Памятник герою — это есть!'

В енисейско-орхонских памятниках *-miš* выступает еще в функции плюсквамперфекта, хотя форма *-miš erdi* уже существовала. Ср. ...süñ-

¹⁹ А. Н. Кононов. Опыт реконструкции тюркского деепричастия на $-(^{\circ})п$, $-(^{\circ})б$, $-(j)^{\circ}б$, $-(^{\circ})пан$, $-(^{\circ})бан$, $-(^{\circ})баны$, $-(^{\circ})банын(н)$. (Материалы к сравнительно-исторической грамматике тюркских языков). — «Вопросы языкознания», 1965, № 5, стр. 111.

²⁰ Гипотеза о $*(^{\circ})b$ как древнейшей форме перфекта высказана И. В. Кормушиным (см. указ. раб.).

gin ačdumyz, qany süsi tirilmış. Sünüşdimiz (Малов. ПДП, Тоң. 28). 'Мы проложили (путь) копьями. Войско хана уже собралось. Мы сразились'.

Вместе с тем енисейско-орхонские памятники фиксируют эту форму лишь в 3-м лице, причем наличие значимого противопоставления *-miş* и *-di* по признаку невключенности говорящего в событие обнаруживается в ряде текстов. Ср., например, переход повествования от *-di* к *-miş* в известном фрагменте из памятника в честь Кюль-Тегина²¹. Ср. также аналогичные надгробные надписи, где различие в форме времени определяется формой лица: Tākāš kŭl tudun inisi ... jŭkŭnŭr kŭn bādīsmis Aзганаз ār ағыр бādīsmis (Малов, там же, 45) '(Памятник) Текеша, младшего брата Кюль-тудуна... в день поклонения украсил муж Азганаз хорошо устроил'. /bilgä/ каган б/itigin/ Жолыг тігін бітідім бунча баркыг бādīzig... бітідім. (Малов. Пам. Монголии, 19) '...Памятник Бильгя-кагана я, Иолуг-тегин, написал. Столь многие здания, украшения... я написал'.

В рунических памятниках отмечены лишь единичные случаи употребления *-miş* в 1-м лице: в «Гадательной книге» (ilig itmiş mǎn 'я создал племенной союз'), где система индикатива отличалась от таковой в орхонских памятниках и скорее была близка к древнеуйгурской. Кроме того, в енисейских памятниках, также содержащих известные отличия от орхонских, отмечен один случай употребления формы 1-го лица [bān bāš jāgirmī aлынмышым 'в пятнадцать лет я был взят (на воспитание к китайцам)']²². Вместе с тем и в формах 3-го лица отмечаются случаи, когда указанное противопоставление оказывается нерелевантным, так как в *-miş* выступает на первый план его перфективное значение. Ср. Ol küntä tāgti. Türk budun Tāmir qaryuqa Tināsi oŭly jatyuma taŭqa tāgmiş, idi joq ārmış. Ol jārka bān, bilgä Toñuquq tāgürtük ücün... (Малов, ПДП, Тоң., 46—48) 'В те дни тюркский народ достиг Железных ворот, достиг горы-местопребывания сына Тинэси, (где) не было предводителя. Так как я, мудрый Тоньюкук, дошел (с войском) до этого места...'.

Употребление *-miş* в повествовательной функции еще не было связано с эмфатическим пересказыванием или подчеркнутым указанием на вторичность источника знания о действии. Признак невключенности говорящего в действие был однако ослаблен в форме 3-го лица и мог уже трансформироваться в значение неактивности субъекта в 1-м и 2-м лицах, то есть выявлять тот путь развития, который достаточно четко обнаруживается в западногузском ареале (турецкий тип *-miş*). Можно предполагать, что функции Перфекта II в диалектном ареале, отраженном в рунических памятниках, выполняла форма *-duq*. О перфективной функции *-duq* свидетельствуют лишь косвенные факты и осколки его парадигмы. Так, в енисейско-орхонских памятниках *-miş*, не имевшее отрицательной формы, в этой функции включало в свою парадигму *-maduq* (эта особенность, как известно, сохранилась в современном якутском языке). Форма *-duq* отмечена в предикативном употреблении в «Диване» Махмуда Кашгари, в среднеазиатском Тефсире (kılмадуқмиз анларға анда адіп ǧртүк пǧрдǧ 'Не сделали мы им другого покрово — защиты')²³. Редкие случаи ее употребления зафиксированы в анатолийских памятниках. Ср. Ejitdi:hič unutmaduŭuz biz sizi 'Сказал: мы вас не забыли'; Ādemi: 'ālemde olalı muqim/ Görmedük-dür kimse andan jey

²¹ С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности. М.—Л., 1951, стр. 29—30.

²² С. Е. Малов, Енисейская письменность тюрков..., стр. 29.

²³ А. К. Боровков, Лексика среднеазиатского Тефсира XII—XIII вв. М., 1963, стр. 249.

‘С тех пор как существует человек, никто не видел благороднее его’²⁴ (характерно, что в другой рукописи эта форма заменена на *görmemiş dür*). *Däkülmedük dürgür jüzüm suji hiç* («Dastan-i Ahmed Narami», 521) ‘Моя честь ничем не запятнана’. Г. Дуда отмечает *-duq* как временную форму в языке «Рассказов сорока визирей»: *aflamadıqsız* или *aflıjama-duqsız* при нормальном *aflıjamaduñuz* ‘вы не смогли понять’²⁵.

На предикативную функцию *-duq* указывает модальная частица *-duq* в памятниках (ср. *бустан бізім әрмәз әрмішдүк* ‘сад не был нашим, оказывается’²⁶); в языке Навои²⁷ и в современных уйгурских диалектах (*кәпрәттә чай барикәндүк* ‘говорят, в кооперативе есть чай’²⁸).

Признание модального сдвига в *-miş* в языке енисейско-орхонских памятников объясняет отсутствие в них форм 1-го и 2-го лица и употребительность *-miş* в среднеазиатском Тефсире, в котором сохранились особенности письменного языка предшествующих эпох. Показательно, что модальный сдвиг обуславливает здесь реперфективацию, осуществляемую с помощью глагола-модификатора *tur-* в форме презенса, чередующегося в этой функции с *eüg*. Ср. *мән ані білмәмішмән теб өкүнді* ‘я этого не знал, — покаялся он’. (Боровков. Лексика., 244); *мән уларің кішісіндін бірағүні өлдүрміш турур мән* ‘я убил одного из их людей’²⁹; *бу жармакні кайда булдің сән гәндж булмуш турурсан* ‘Эту монету где ты нашел? Ты, наверное, нашел клад’ (Боровков. Лексика., 110). В форме 2-го лица *турур* (как и *dir* в турецком языке) снимало признак вторичности источника знания о действии, хотя и оставляло значение эксклюзивности.

Эта же линия отмечена в формах 1-го и 2-го лица в западноугузском ареале. В турецких памятниках XVI—XVII вв. форма 1-го лица *-mişimdir*, *-mişizdir* представлена достаточно отчетливо. Ср. употребление типа: *Şimdijedek sulhi riâjet etmege çalışmışımdır, şimden gerü dahî maqdurumuzı sarf ederüz* ‘До сих пор я старался следовать миру и впредь буду делать все возможное для этого’³⁰.

Разговорный язык указанного периода не исключал употребления *-mişim* в немодальном значении (в функции предшествования другому действию в сфере МР), что характерно для *-miş* и в современном языке.

Перфект *-miş*, на наш взгляд, имеет и другую линию семантического развития. В древнеуйгурских памятниках, где эта форма представлена полной парадигмой, исследователи отмечают значения, включаемые нами в значения Перфекта II, с очевидной нерелевантностью признака невключенности говорящего в действие³¹. В древнеуйгурском *-miş* оказалось на положении Перфекта II с четко представленным значением актуализации субъекта и изолированного факта. Можно предположить,

²⁴ F. Taeschner. Gülschehrj's Mesnewi auf Achi Evran, den Heiligen von Kirschehir und Patron der türkischen Zünfte. Wiesbaden, 1955, стр. 61.

²⁵ H. Duda. Die Sprache der Qyrq Vezir-Erzählungen. Bd., I. Leipzig, 1930, стр. 87.

²⁶ А. К. Боровков. Указ. раб., стр. 79.

²⁷ А. К. Боровков. Алишер Навои как основоположник узбекского литературного языка. — «Алишер Навои». М.—Л., 1946, стр. 116.

²⁸ Л. А. Аганина. Уйгурские диалекты Казахской ССР. Автореф. канд. дисс. М., 1954, стр. 13.

²⁹ А. К. Боровков. Очерки истории узбекского языка, II. — «Советское востоковедение», VI. М.—Л., 1949, стр. 42.

³⁰ L. Fekete. Türkische Schriften aus dem Archive aus Palatins Nicolaus Esterhazy 1606—1645. Budapest, 1932, стр. 90.

³¹ Д. М. Насилов. Структура времен индикатива в древнеуйгурском языке (по памятникам уйгурского письма). Автореф. канд. дисс. М., 1963, стр. 7.

что эта форма выступала и в модальном значении, хотя противопоставление по включенности/невключенности здесь предстает разрушенным.

Другие формы перфектной зоны, а таковой, на наш взгляд, была форма *-juq*, обнаруживали модальный сдвиг в сторону функциональной зоны *-di*, что расширило соответственно зону перфекта *-miš*. Аналогичная картина соотношений наблюдается в современном тувинском языке в формах *-ди*, *-чих* (соответствующем древнеуйгурскому *-juq*) и *-ган*³² (*-ган* в тувинском нерелевантно к включенности и выполняет в значительной степени функции претерита других языков). Еще одним проявлением данной тенденции является состояние *-miš* в современном саларском языке, где функционально *-miš* и *-ži* (*-di*) находятся на положении синонимов³³.

Эта линия развития проявилась в *-miš* и в восточногузском ареале, прежде всего в азербайджанском языке. Она отразилась и в языке анатолийских памятников XIII—XIV вв., основанных на восточногузском койне.

Для восточногузских языков развитие *-miš* оказалось связанным с интерференцией иных языковых групп, что обусловило в одном случае вытеснение *-miš* в функции перфекта формой *-gan* (ср. положение в современном саларском индикативе, где *-gan* выступает как перфект, а *-miš* отошел в сферу претерита), а в другом случае — включение в зону перфекта форм *-ыб* (в азербайджанском) и *-ыптыр* (в туркменском).

Сделаем некоторые выводы из изложенного выше:

1. Если судить по лексическим единицам, сохраняющим первичные значения свойства и приверженности к совершению действия в потенциальном глагольном имени *-miš* (типа диалектального башк. *ашамыш* 'обжора', *теләнмеш* 'попрошайка', *көрмөш* 'скряга', чув. *юнтармаш* 'капризник', *йәпатмаш* 'утешитель'³⁴), то приобретение *-miš* значений перфекта происходило уже в процессе его включения в темпоральную систему, в которой древнее противопоставление акциональных и неакциональных форм реализовалось в трехчленную систему (претерит: аорист — формы состояния).

2. В текстах памятников этап вовлечения *-miš* в темпоральную систему не отмечается, но если исходить из процесса смены норм в письменном языке среднеазиатского ареала на примере *-gan*, то придется признать, что это были значения реализованного состояния и характеризующего факта (*-gan* на этом этапе выступал в роли варианта элемента функционирующей системы). В процессе расширения аспектуального потенциала (расширения проявления перфективности до значения изолированного факта) в перфекте проявляются функции претерита и плюсквамперфекта.

3. Панхроническая закономерность перерастания перфекта в претерит при устойчивости общетюркского претерита *-di* возрождала оппозицию по включенности/невключенности говорящего в действие (эта оппозиция сохраняется в современном языке в дейктическом проявлении указательных местоимений), что приводило на этой основе к развитию модальных значений формы (чаще перфекта, но в некоторых случаях и *-di*). Модальный потенциал перфекта в своем развитии зависел от существования других форм перфекта.

³² Д. М. Насилов. Прошедшее время на *-juq||-jük* в древнеуйгурском языке и его рефлекс в современных языках. — «Тюркологический сборник». М., 1966, стр. 97.

³³ Э. Р. Тенишев. Строй саларского языка. Автореф. докт. дисс. М., 1969, стр. 56.

³⁴ Э. В. Севортян. Указ. раб., стр. 351.

4. Расширение аспектуального потенциала *-miş* обуславливало его функцию относительной формы. В процессе исторического существования перфекта возможность реализации в любой функционально-речевой сфере перемещается от перфекта *-miş* к плюсквамперфекту, хотя для современного *-miş* можно говорить лишь о преимущественном тяготении к сфере МР. Утраченная возможность перфективации на любой грамматической оси (примарной и ретроспективной) восполняется системой перифрастических оборотов.

5. В одноперфектных языках форма сохраняет известное равновесие аспектуальных и модальных признаков. Значительный модальный сдвиг (типа тур. *-miş*) восполняется расширением функциональной зоны претерита и давнопрошедшего, а также аналитическими формами на основе перфекта.

6. Цикличность в развитии перфекта проявляется в его способности к реперфективации (типа тур. *-miştir*).

Э. Р. ТЕНИШЕВ

ОТРАЖЕНИЕ ДИАЛЕКТОВ В ТЮРКСКИХ РУНИЧЕСКИХ И УЙГУРСКИХ ПАМЯТНИКАХ

Типологические исследования показывают, что в дофеодалный период развития народов литературные формы их языков складываются на основе наддиалектной устной речи (устного койне)¹.

Древние литературные варианты языков соответствуют определенным критериям: структурной смешанности, обработанности, наличию стилистической вариативности, нейтральности по отношению к диалектам².

Эти критерии могут быть полностью применимы и к языку тюркских рунических надписей. Можно полагать, что тюркоязычные племена выработали свой наддиалектный вариант обобщенной речи, применявший-ся ими во время публичных выступлений, обрядовых действий, а также в устно-поэтической практике.

Материал рунических текстов обнаруживает, что устное койне тюркских племен в структурном плане представляло собою смесь главным образом двух языковых стихий: огузской (винительный падеж на -уу, дательный падеж от формы принадлежности на -та, повелительная форма 1-го лица мн. ч. на -аһут, прошедшее время на -туш, форма на -диц, глагол буһ- 'находить') и уйгурской (d в середине имен и глагольных основ — адақ 'нога', қод- 'положить', дательный падеж на -уа, форма на -даһу, предикатив бағ 'есть, имеется', глаголы бағ- 'идти', бәғ-/біғ- 'давать', боһ- 'быть', 'становиться').

С введением тюрками рунического письма устное койне было узаконено как литературный стандарт, получивший твердую общественную опору в условиях государственного союза.

В эпоху раннего средневековья (VII—VIII вв.) общетюркский литературный вариант употребляли тюркские племена — огузы, уйгуры, киргизы, кыпчаки и др.

Для повседневного общения каждое племя пользовалось собственными народно-разговорными языками: огузы и кыпчаки — j- языками (ајақ, қој-), уйгуры — d- языком (адақ, қод-), киргизы — z- языком (азақ, қоз-).

Об отшлифованности и обработанности языка рунических надписей свидетельствует обилие формул-клише (поэтических, ораторских, пра-

¹ А. В. Десницкая. Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка. Л., 1970, стр. 86—98.

² В. Н. Ярцева. Развитие национального литературного английского языка. М., 1969, стр. 5—6.

вовых, обиходных), наличие ярких художественных сравнений и нормированной лексики. Статус языка рунических памятников как единого литературного стандарта исключал возможность регулярного использования диалектных звуков, форм и лексики.

Следовательно, выделить какие-либо диалектные конфигурации в языке рунических надписей не представляется возможным. Это положение в равной мере относится как к языку крупных «орхонских» надписей в честь Кюль-Тегина (КТ), Бильге-Кагана (хана Могиляна) (БК), Тоньюкука (Тон.), Кули-Чура (КЧ), Моюн-Чура (МЧ), Онгинской (О), так и к языку небольших «енисейских» (Е)³ и других более мелких надписей.

Многие тюркологи придерживаются структурно-генетического взгляда на язык рунических памятников, согласно которому он представляет собой целостную систему, сопоставимую с тем или иным этнолингвистическим коллективом и расчлененную на диалектные единицы.

Язык рунических текстов сближается как «древнеогузский» с современными языками юго-западной группы⁴, а также с казахским⁵, якутским⁶ и языками Южной Сибири⁷. Но смешанная природа языка рунических памятников, функционирование его как наддиалектного стандартного варианта, что в свое время было подмечено еще С. Е. Маловым⁸, лишает почвы всякого рода локально-генетические сближения. И. А. Батманов, изучавший соотношение языков рунических памятников и современных тюркских языков, считал, что в языке «памятников есть свои локальные разновидности, отражающие особенности племенных диалектов (или даже языков)»⁹. И. А. Батманов выделил пять признаков, позволяющих, с его точки зрения, выявить диалектное членение языка рунических текстов: соответствия $i \sim e$, $s \sim \dot{s}$, $b \sim m$, $lt \sim ld$, $-m\dot{y}a/-mqa \sim ma$. С учетом данных признаков, расцененных автором как системные, в языке древнейших памятников выделялись наречия, диалекты, говоры и подговоры.

Можно ли указанные колебания считать системными?

В. В. Радлов¹⁰, отвечая К. Фою, отрицал возможность колебания $i \sim e$ в языке с гомогенной системой, обосновывая это следующим образом: в современном языке колебание $i \sim e$ можно встретить только у лица, владеющего тем и другим диалектом; в письменном же языке колебания возникают либо под влиянием литературного языка (сельджукские стихи), либо под воздействием языка переписчика («Кутадгу билиг»), либо же вследствие неустойчивости орфографии адаптированной письменности (орхоно-енисейские памятники); в остальных случаях колебание $i \sim e$ не наблюдается.

³ Примеры приводятся из книг С. Е. Малова: Памятники древнетюркской письменности. М.—Л., 1951; Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.—Л., 1959; Енисейская письменность тюрков. М.—Л., 1952.

⁴ П. М. Мелиоранский. Турецкие наречия и литературы. — «Энциклопедический словарь», изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон, т. XXXIV. СПб., 1902, стр. 160.

⁵ С. А. Аманжолов. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Алма-Ата, 1959, стр. 86.

⁶ В. Г. Кондратьев. Очерк грамматики древнетюркского языка. Л., 1970, стр. 12.

⁷ «Древнетюркские диалекты и их отражение в современных языках». Фрунзе, 1971.

⁸ С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков, стр. 7.

⁹ И. А. Батманов. Некоторые особенности языка памятников орхоно-енисейской письменности и их отражение в современных тюркских языках. — «Вопросы диалектологии тюркских языков», т. III. Баку, 1963, стр. 118.

¹⁰ W. Radloff. Zur Geschichte des türkischen Vokalsystems. — «Известия императорской Академии наук», серия V, т. XIV. СПб., 1901, № 4.

Однако после В. В. Радлова тюркологами был накоплен большой материал, не подтверждающий этих представлений. Как было установлено, колебание $i \sim e$ существует не только в речи отдельных людей, но также в говорах и диалектах многих современных и древних тюркских языков, где причины, приведенные В. В. Радловым, осязаемо не обнаруживаются¹¹. Следовательно, колебание $i \sim e$ отражает общетюркскую динамику передвижения гласных и не может служить в языке рунических памятников дифференцирующим признаком для выделения диалектных единиц.

Колебания $s \sim \check{s}$, как и $\check{s} \sim s$, встречаются и в орхонских (КТ, БК, Тон., МЧ, КЧ, О), и в енисейских памятниках. Они возможны в начале, середине, конце слов в окружении гласных или гласных и согласных. Иными словами, можно говорить о взаимозамене s и $\check{s}$, $\check{s}$ и s , свободной от каких-либо позиционных или фонетических условий. Причина подобных колебаний может быть объяснена экстралингвистическим фактором как результат тюркско-китайского двуязычия, распространенного в высших слоях древнетюркского общества.

Колебания $s \sim \check{s}$ и $\check{s} \sim s$ в памятниках произвольны и не могут служить основанием для выделения диалектов или говоров.

Сочетания сонантов со смычными (lt , rt , nt , nk и др.) часто встречаются в крупных орхонских памятниках и заметно реже — в енисейских и других. Колебания $lt \sim ld$, $rt \sim rd$, $nt \sim nd$, $nk \sim ng$ суть следствие неразличения звонких и глухих согласных. Аналогичная система, основанная на различении каждой пары смычных согласных не по звонкости и глухости, а по слабости и силе, представлена в современных саларском и сарыг-югурском языках как результат тюркско-китайского (тибетского) двуязычия.

Очевидно, этим же объясняются и колебания звонких и глухих взрывных в рунических текстах, что подтверждается и существованием колебаний $s \sim \check{s}$ и $\check{s} \sim s$. Можно утверждать, что колебания звонких и глухих в рунических памятниках не ограничиваются конкретными условиями и не относятся к числу дифференцирующих признаков диалектного членения.

Инициальный b ($b\ddot{a}n$ 'я', bun 'печаль', $b\ddot{a}ng\ddot{u}$ 'вечный', $j\ddot{a}mli\ddot{g}b\ddot{a}n$ 'я есмь удел') свойствен большей части енисейских надписей и памятникам Тоньюкуку и Моюн-Чуру. Местоимение $m\ddot{a}n$ 'я' с начальным m встречается в енисейских надписях №№ 28, 29, 32, 45, 47. В некоторых памятниках разные группы слов обнаруживают колебания инициальных $m \sim b$: $m\ddot{a}n$ 'я' $\sim$ $b\ddot{a}n\ddot{a}$ 'мне' (Е 10), $b\ddot{a}n\ddot{k}\ddot{u} \sim m\ddot{a}n\ddot{k}\ddot{u}$ 'вечный' (Е 32), $m\ddot{a}n$ 'я', но $b\ddot{a}ng\ddot{u}$ 'вечный' (КТ, БК). В памятнике Кули-Чуру имеет место только инициальный b : $bun\ddot{c}a$ 'столько', bip 'садиться на коня' (слова $b\ddot{a}n$ или $m\ddot{a}n$ 'я', $b\ddot{a}ng\ddot{u}$ или $m\ddot{a}n\ddot{g}\ddot{u}$ отсутствуют). Картина распределения b и m в памятниках весьма сложная.

Это утверждение справедливо и в отношении признака $-m\ddot{y}a/-m\ddot{q}a$ и $-ta$.

Формант $-m\ddot{y}a/-m\ddot{q}a$ представлен в группе енисейских памятников (№№ 7, 8, 13, 15), формант $-ta/-m\ddot{a}$ — в ряде енисейских текстов (№№ 11, 18, 49, 51) и в памятниках в честь Кули-Чура, Моюн-Чура, Бильге-Кагана. Колебания в употреблении формантов $-m\ddot{y}a/-m\ddot{q}a \sim -ta$ наблюдаются в енисейских памятниках (№№ 1, 3, 27, 29, 41).

¹¹ М. Ряснен. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1955, стр. 77, 79, 82.

Литературный язык рунических памятников, на котором писали и читали, но не говорили, несомненно, имел стилистические разновидности. Можно говорить о художественно-выразительном, поэтическом стиле памятников в честь Кюль-Тегина и Бильге-Кагана, полемическом стиле текста Тоньюкука и обиходном стиле енисейских надписей. А. Н. Кононов, изучавший синтаксис надписи Тоньюкука, пришел именно к такому заключению¹².

Наиболее унифицирован стиль первых двух больших надписей, автором которых является одно и то же лицо — представитель правящей верхушки Иолыг-Тегин — человек образованный, прекрасно владевший литературным языком и умело, талантливо использовавший его богатства.

Автор другой надписи, Тоньюкук — дипломат и полководец, получивший образование за границей. В знании литературного языка, его тонкостей Тоньюкук, безусловно, уступал Иолыг-Тегину. Поэтому в написанном Тоньюкуком тексте спорадически выступают формы из его родного диалекта: *Oyuzdantan* 'от огузов' (вм. нормативного *Oyuzda*), *bäridänjän* 'с юга' (вм. *bäridäjän*), *öñdänjän* 'с востока' (вм. *öñdäjän*), *jyrdantajan* 'с севера' (вм. *jyrdatajan*).

Авторами енисейских надписей являлись менее образованные представители средних слоев тюркской знати. Естественно поэтому наличие здесь большего количества элементов из народного языка, чем в тексте Тоньюкука. Подмены инициального *b* инициальным *t* и форманта *-ta* формантом *-tqa/-mq* показывают значительное проникновение диалектальных черт в язык енисейских памятников. С. Е. Малов выдвинул даже задачу локализовать диалектные признаки енисейских надписей по территории нахождения памятников¹³. Осуществление этого принципа могло бы наглядно показать наличие или отсутствие определенных диалектных единиц на всей территории, охватываемой памятниками.

Язык древнеуйгурских письменных памятников представляет собой иной этап в развитии древнетюркских литературных языков. Истоки его восходят к руническому койне — первому литературному варианту языка тюркских племен.

В период проживания в Монголии (до 840 г.) древние уйгуры, как и другие тюркоязычные племена, пользовались единым наддиалектным языком, представленным в рунической письменности. Об этом свидетельствуют рунические памятники уйгурской эпохи: памятник Моюн-Чуру и надписи — Тарьятская, Сэврэйская, Карабалгасунская. После переселения в середине IX в. в Турфан и Ганьчжоу уйгуры продолжали еще некоторое время употреблять руническое письмо и прежний литературный язык. От этой поры сохранились рунические тексты религиозного и юридического содержания, записанные на бумаге, а также небольшие надписи на стене храма и на зеркале. Но архаичное руническое койне уже не отвечало требованиям социальных институтов уйгурского государства. По этой причине руническое койне вскоре вышло из общественного употребления, а на его основе уйгурами в короткий срок был создан новый литературный язык, доступный широким народным массам.

В виде традиционной части в него вошел из рунического койне ряд грамматических форм: вин. п. на *-uγ*, глагольная форма на *-duq*, прош. вр. и прич. на *-tuš*, прич. на *-γta*.

¹² А. Н. Кононов. Из наблюдений над синтаксисом надписи Тоньюкука (VIII в.). — В сб.: «Philologica». Исследования по языку и литературе. Памяти акад. В. М. Жирмунского». Л., 1973, стр. 90.

¹³ С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков, стр. 13.

Вместе с тем литературный язык обрел национальные, собственно уйгурские элементы: *y* вместо *ñ* в середине слов, вин. п. на *-tyn*, «двойное склонение» местоимений, особую систему времен и личное оформление условного наклонения. Так возник структурно смешанный язык, именуемый в уйгурских рукописях *türk ujuḡ tili* 'тюркско-уйгурский язык'.

С формированием нового литературного языка уйгуры отказались от рунического письма и перешли на адаптированный согдийский алфавит и некоторые другие виды письма (манихейское, брахми).

Древнеуйгурский язык по праву может считаться литературным языком, одним из существенных признаков которого является наличие функциональных стилей, выработанных в результате общественного функционирования и реализованных главным образом средствами лексики и синтаксиса. Можно выделить несколько стилевых модификаций древнеуйгурского литературного языка: стили религиозной (философско-дидактической) литературы, художественной литературы, научных произведений, деловых документов, частной переписки и стихотворных произведений.

Стиль религиозной литературы занимает ведущее место в литературном языке древних уйгуров. К произведениям религиозного содержания относятся многочисленные рукописи буддийского, манихейского, христианского толков. Из них буддийская литература — самая обширная. Сюда входят переводы из китайского, тибетского, тохарского языков больших по объему буддийских вероучительных книг: *Suvarṇaprabhāsa*, *Maitrisimit*, *Tiśastvustik*, *Kuan-ši-im Pusar* и множество более мелких произведений.

Для религиозного (философско-дидактического) стиля характерно богатство терминов и словосочетаний, передающих содержание различных религиозно-философских догм: *ačari* (санскр. *ācārya*) 'учитель, наставник', *samādi diyan* (санскр. *samādhi dhyāna*) 'углубленное созерцание', *wḡxag*, *wixar* (санскр. *vihāra*) 'монастырь', *moγoč* 'маг, волхв', *piγošaḡ* (согд. *pyš'k*) 'ученик, послушник'.

Судя по вставкам светского содержания, сделанным в *Suvarṇaprabhāsa*, и другим повествованиям нерелигиозного характера (история двух принцев, путешествие Сюань-Цзана), у уйгуров получил развитие также стиль художественной литературы, были и профессиональные писатели. Одной из особенностей данного стиля является богатый набор приименных определений: *ädgü qylınc* 'добрый поступок', *ädgü qylınclyḡ kimi köbrük* 'корабль и мост добрых деяний', *bu jydyḡ sarsyq qanlyḡ jirinlig sävgüsüz taplayusuz jarsynčyq ätöz* 'это отвратительное, смердящее, гнилое, кровавое, гнойное, без любви и преданности тело'.

Язык древнеуйгурской художественной литературы очень гибок и образен: в ней можно встретить и полное экстаза описание благочестивой созерцательности (диан), и мастерски переданную мрачную картину вещего сна, и красочное изображение природы, и исполненные грусти размышления о быстротечности жизни и многое другое.

О стиле научных произведений дают представление трактаты медицинского и астрономического содержания. Уйгурская медицина развивалась под влиянием индийской, и лечебник, которым пользовались уйгуры, носил санскритское наименование. Большинство терминов, свойственных данному стилю, заимствовано из санскритского и китайского языков. Есть, конечно, и исконно уйгурская терминология: *čirny* (санскр. *cūrṇa*) 'мел, порошок', *rapyt* (санскр. *phānita*) 'мед', *raši* (санскр. *rāśi*) 'знак Зодиака', *lu* (кит. *Luḡ* 'дракон') — название одного из годов 12-летнего цикла, *tiš aḡyḡ* 'зубная боль', *uzun isig* 'хроническая малярия'.

Характер делового стиля передают уйгурские юридические документы, ярлыки и хозяйственные записи. Среди деловых бумаг уйгуров больше всего встречается документов юридического содержания: долговые квитанции, арендные договоры, акты о повинностях, завещания и др. В этих документах много правовых формул, построенных по установившемуся языковому шаблону. Они выражают форму сделки, условия соглашения, иногда предусматривают возможность несчастного случая. Уйгурские юридические документы хранят следы влияния китайских образцов. Документы-ярлыки уйгуров состоят из формулы обращения и следующего за ней того или иного распоряжения.

Хозяйственные записи, не столь жестко связанные формой, обычно регистрируют, что именно продано или приобретено.

Небольшие публикации уйгурских писем из неизданного пока Берлинского собрания частной уйгурской переписки дают возможность судить о древнеуйгурском эпистолярном стиле.

В каждом письме указаны дата, адресат и автор письма, далее следует формула вежливости, затем — изложение дела или просьбы и в конце — формулы благопожеланий.

О стиле стихотворных произведений можно судить по сводной публикации Р. Р. Арата¹⁴. Уйгурам были известны различные виды стиха: *taγšut* и *šlok* (санскр. *śloka*) 'стихи, песни', *padak* (санскр. *pāḍaka*) 'стих, строка', *kavī* (санскр. *kāvya*) 'поэма, эпос'. В рукописях сохранились имена уйгурских поэтов: *Aprγncur tigin*, *Pratjaja Širi*, *Qalym kâjši* и др. Стихи уйгуров были светского и религиозного содержания. Отличительная их особенность — начальная вертикальная аллитерация и наличие ассонансов. В богатой древнеуйгурской поэзии встречаются стихи с аллитерацией в порядке букв уйгурского алфавита и такая редкая форма, как трехстишие с меняющейся начальной аллитерацией.

Несмотря на широкий функциональный диапазон, древнеуйгурский литературный язык употреблялся только для письменного общения, на нем писали и читали, но не говорили. Такой язык, конечно, не мог регулярно отражать диалектные признаки, хотя роль опорного диалекта для него и сыграл язык жителей древнего Турфана. В данном случае можно говорить лишь о случайном, стихийном проникновении некоторых диалектных черт, закрепившихся в различной пропорции в зависимости от того или иного стиля.

Стили официальных бумаг и частной переписки содержат больше элементов народного языка, нежели стили религиозной, художественной, научной литературы. Не все деловые документы в одинаковой мере насыщены народными языковыми элементами. От назначения документа и его формы зависит и мера отражения черт народно-разговорного языка. Легко заметить, что долговые квитанции (на материю, деньги, вино, хлопок и т. д.) и арендные договоры (на землю, виноградники) в меньшей степени насыщались народно-разговорными элементами, чем документы о повинностях, акты-дубликаты и духовные завещания. Последние заметно свободнее от стандарта и литературной нормы. Так, например, документ № 48 (по изданию В. В. Радлова и С. Е. Малова)¹⁵, представляющий собой расписку в получении денег, содержит только литературные формы: вин. п. на *-üg* и глагольные формы *-muš*, *-sar*, документ № 52 — расписка в получении серебра — литературные формы в виде

¹⁴ R. R. Arat. Eski türk şiiri. Ankara, 1945 (Türk Tarih Kurumu Yayınlarından, VII seri, № 45).

¹⁵ W. Radloff. Uigurische Sprachdenkmäler. Materialien nach dem Tode des Verfassers mit Ergänzungen von S. Malov herausgegeben. L., 1928.

исх. п. *-ta* и условной формы *-sar*, документ № 116 — договор в связи с пропажей раба — только литературные формы: вин. п. *-uγ*, глагольные форманты *-myš* и *-sar*. В то же время документ № 110 — акт об обмене рабыни на бязь — имеет нелитературную форму вин. п. *-ny/-ni*, документ № 51 — акт об отдаче сына в услужение — при литературных *-myš* и *-sar* содержит и народную форму вин. п. *-ny/-ni*, а документ № 12 — расписка об уплате долга — вместе с нормативными формами исх. п. *-tyn/-tin* и условн. накл. *-sar/-sär* имеет и ненормативные формы вин. п. *-ny/-ni* и прич. прошедшего времени *-γan/-gän*, как и в современном уйгурском языке. На языковой статус документа влияет не только его форма, но и степень грамотности составителя или писца.

Лишь небольшое число уйгурских рукописей написано индийским шрифтом брахми, более точно отражающим фонетическую сторону древнеуйгурского языка, нежели все остальные виды письма уйгуров. Так, в этих рукописях зафиксированы начальные глухое *p* и придыхательное звонкое *bh*, широкие *o*, *ö* — в непервых слогах¹⁶. Существует мнение, что документы на брахми-шрифте отражают диалектное состояние языка¹⁷. С этим можно было бы согласиться, если бы не нормативная морфология — она полностью принадлежит классическому уйгурскому литературному языку.

Что же представляет собой фонетика записей брахми-шрифтом? Можно думать, что это скорее всего фиксация устной нормы литературного произношения уйгуров.

Даже небольшой обзор специального материала позволяет отметить, что языки рунических и древнеуйгурских памятников имеют статус наддиалектных литературных языков. Как нормированные, стандартные языки они не допускают массового проникновения диалектных черт. Тем не менее отражение в них некоторых диалектных признаков вполне возможно, однако только в том случае, если фиксирующие литературный язык памятники были составлены в такой социальной среде, где уровень грамотности не был очень высок, или если этому способствовали форма документа и степень грамотности писца.

¹⁶ A. von Gabain. Alttürkische Grammatik, 3. Auflage. Wiesbaden, 1974, стр. 6.

¹⁷ A. von Gabain. Türkische Turfan-Texte, VIII. Texte in Brähmischrift. Berlin, 1954, стр. 3—5.

ЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ

А. Н. ГАРКАВЕЦ

УПОДОБЛЕНИЕ АРМЯНО-КЫПЧАКСКОГО ГЛАГОЛЬНОГО ИМЕНИ НА -gaп СЛАВЯНСКОМУ ПРИЧАСТИЮ И ЕГО СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Одной из определяющих черт кыпчакских языков (в противоположность болгарской и огузской группам¹) является наличие глагольного имени прошедшего времени на -gaп, тождественного по своей природе и функциям распространенному во всех тюркских языках глагольному имени на -g, и огузским глагольным именам на -duq, -adzaq. Типологическое значение этих форм обусловлено прежде всего природой тюркского имени, а затем уже и природой самого глагольного имени.

Исконно тюркские имена не делились грамматически на имена существительные и имена прилагательные не только в связи с отсутствием специальных словообразовательных и словоизменительных аффиксов, отличающих одну из этих групп от другой, но и с их функциональной тождественностью². Кроме того, как существительные, так и прилагательные могли служить словообразовательной основой имен, глаголов и, что особенно важно, наречий (ср. тур. *güzelce* 'красиво', являющееся исторически формой экватива). Только впоследствии, в связи с функциональной адъективацией некоторых деривативных именных форм и аналогичным функциональным ограничением исконных имен со значением качественной субстанции, стало возможным выделить грамматически категорию прилагательных, то есть имен, утративших оттенок субстанциональности и потому неспособных склоняться и принимать притяжательные аффиксы. Именно поэтому прилагательные не принимают участия в словообразовании деривативных наречий. Далее увидим, что и адъективированные глагольные имена (причастия) по той же причине не участвуют в словообразовании деепричастий, а следовательно, не могут выступать в роли обстоятельств.

Глагольные основы, от которых образуются глагольные имена, как известно, могут иметь грамматические значения переходности — непереходности, залога, положительности — отрицательности, возможности — невозможности, сопряженные с определенными типами аффиксов. Понятно, что глагольные имена, образованные от глагольных основ, сохраняя эти глагольные значения, приобретают характеристики, свойственные

¹ А. Н. Самойлович. Некоторые дополнения к классификации тюркских языков. Пг., 1922, стр. 8; М. Ряснен. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1955, стр. 30; Н. А. Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1969, стр. 244, 299 и др.

² O. Pritsak. Das Altürkische. — «Handbuch der Orientalistik». V. Bd., 1. Abschnitt. Leiden — Köln, 1963, стр. 37; M. Räsänen. Materialien zur Morphologie der türkischen Sprachen. Helsinki, 1957, стр. 74.

именам как субстанциальному классу, и, таким образом, представляют действие, процесс как субстанцию, определяющую некоторую другую субстанцию. Иными словами, глагольное имя может употребляться в функции любого члена предложения — как субстанциального (подлежащее, субстанциальный предикатив, прямое и косвенное дополнение, определительное или посессивное дополнение), так и атрибутивного (определение, определительный предикатив, обстоятельства, кроме обстоятельства места).

Класс исконных глагольных имен, довольно разнообразный в плане словообразования, претерпел значительные семантико-функциональные изменения. Некоторые формы стабилизировались функционально еще в доисторическую эпоху пратюркской общности и известны в современных языках либо как финитные формы глагола [например, общетюркское *keldim* 'я пришел' развилось из древнетюркского *kel-öt-(i)m* 'прихождение в прошлом (как предиктируемая процессуальная субстанция) мое', возникшего из пратюркского *kel-öt-men* 'прихождение в прошлом (как процессуальная субстанция является признаком субстанции) я'³], либо как собственно именные отглагольные формы (*uğuš* 'битва', *jazov* 'запись', *köğüci* 'наблюдатель' — соответственно обозначают процесс, объект действия и деятеля), либо же как формы адъективные (*büyük* 'большой') и т. д. Остальные формы, возникшие, по-видимому, позже, претерпели в разных языках различные изменения: в одних — стабилизировались в определенном употреблении (например, в армяно-кыпчакском имя на -*og* используется лишь как финитная форма глагольного сказуемого, аналогично ее употреблению в караимском языке и степных говорах крымско-татарского языка), в других — полностью сохранили свои природные характеристики и выступают во всех возможных синтаксических функциях.

Именно таким грамматически полноценным глагольным именем была форма на -gaп в армяно-кыпчакском языке в эпоху становления его контактов со славянскими — украинским и польским — языками. Это подтверждается зафиксированными в наиболее ранних памятниках отдельными фактами непричастного употребления этой формы, а также широким ее использованием во всех возможных функциях в языке латино-половецких, мамлюкско-кыпчакских памятников, в современных языках — крымско-татарском, крымско-урумском, крымчакском и караимском, генетически тождественных армяно-кыпчакскому, и в родственных языках — староузбекском, татарском, каракалпакском и др.

А. Глагольное имя на -gaп без аффикса притяжательности в неопределенном падеже употреблялось в нижеследующих функциях.

1.1. Подлежащее, указывающее на агента действия, названного основой глагольного имени: м.-к. *ketgân benim dostum dur* (П. К., 80) 'ушедший — мой друг'; а.-к. *ol şturumga keltirgân kendilârin bir yajduk edi* (Ш., 135) 'водивший их на штурм был преступник'⁴.

Кыпчакские глагольные имена, выступающие здесь в качестве подлежащего, по своей семантике (носитель предиктированного признака) и функциям в предложении (субъект актуальной предикации) близки славянским причастиям активного залога. И те, и другие, хотя и выступают в данном случае как самодостаточные субстантивы, однако не являются именами существительными с агентивным значением, поскольку самостоятельному их употреблению предшествует редукция логически

³ А. v. Gabain. *Das Altürkische*. 2. Aufl. Leipzig, 1950, стр. 75, 112—113.

⁴ Украинских и польских соответствий не приводим ввиду их принципиальной тождественности русским переводам.

слабого определяемого: *ketgän* (*kiši*) 'ушедший (человек)', *keltirgän* (*kiši*) 'водивший (человек)'. Кроме того, глагольное имя на *-gän*, сохраняя от природы залоговые характеристики понудительности, возвратности, взаимности, употребляясь как определение, не передает значений активности — пассивности⁵ в тех случаях, когда первичная непереходность — переходность (*kel-* 'приходить', *иг-* 'бить') может превращаться в свою противоположность в связи с появлением косвенного объекта (*kelgän jol* 'дорога, по которой пришел некто') или с присоединением аффиксов понудительности. Залоговая активность имени *keltirgän* раскрывается благодаря наличию прямого дополнения к нему (*keltirgän kendilärin* 'водивший их'), при отсутствии которого даже нередуцированное *keltirgän kiši* не выражало бы активности — пассивности: 'водивший/ведомый человек'. Именно залоговой неопределенностью глагольного имени на *-gän* обусловлено крайне ограниченное его употребление в функции подлежащего в памятниках и в современных кыпчакских языках⁶. Более активное использование его в этой функции в армяно-кыпчакском языке объясняется постепенным уподоблением армяно-кыпчакскими — билингвами имен на *-gän* славянским причастиям.

II.1. Сказуемое, указывающее на актуально предиктируемый процессуальный признак подлежащего: *Korčaginī anasyndan başka hič bir kimse oxšamağan edi* (О. Ч., 143) 'Корчагина, кроме матери, никто не ласкал'; кр.-ур. *anyñ evi buradan köñümägän dir* 'его дом отсюда не виден'; а.-к. *ki men teñridän xorxmagan da eldän ujalmagan bolgajmen* (158, 204a) 'что я будто бы такова, что ни бога не боюсь, ни людей не стыжусь'; *bir kesäk zanjat etkän dir* (24, 526) 'один кусок (земли) занят'.

Предикация глагольного имени на *-gän*, как и славянского причастия, осуществляется при помощи глагола-связки в личной форме. Таким образом, глагольное имя на *-gän* и славянское причастие (так же как тюркское и славянское прилагательные в функции предикатива) являются носителями актуально предиктируемого признака. А если учесть, что и финитная форма тюркского сказуемого по своей природе является атрибутивно-объектным сочетанием [*algapmen* 'я взял/брал' < 'взятие в прошлом (как процессуальная субстанция есть признак субстанции) я'], то становится вполне понятным отождествление билингвом кыпчакского глагольного имени в роли именной части сказуемого и финитного сказуемого со славянским причастием, которое может быть также и предикативом (является принесенной/*jest przyniesiona*), и предикатом (принесла/*jest przyniosła*). Отождествлению кыпчакского глагольного имени со славянским причастием в предикативной функции способствовало употребление в этой же функции в армяно-кыпчакской речи многочисленных славянских причастий: *zmogonyj edilär* (Ш., 153) 'были уставшими'; *aktağa bolgaj pryjentyj* (24, 53a) 'пусть будет принят (для записи) в акты'; *Oľax bijindän zeslanyj edilär* (27, 47a) 'были посланы наместником Валахии'; *jer bolgaj naznaçonyj* (37, 154a) 'пусть будет определено место' и т. д.

III.1. Определение, выражающее второстепенный, предиктируемый признак подлежащего, субстанциального предикатива, дополнения, в том числе обстоятельственных дополнений места и времени. Семантико-функциональная сущность глагольного имени-определения не зависит от синтаксической функции определяемого.

⁵ Н. К. Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М.—Л., 1948, стр. 190; С. Н. Иванов. Родословное древо тюрок Абу-л-гази-хана. Ташкент, 1969, стр. 180.

⁶ Ср.: Н. З. Гаджиева. Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков. М., 1973, стр. 237.

Поскольку залоговое значение глагольного имени на -gan в названных выше случаях (когда оно не является пассивным, возвратным) неопределенно, то определяемым может быть не только субъект или прямой объект указанного им действия, что характерно для славянских причастий (активного||пассивного залогов), но и любой косвенный объект этого действия:

а) определяемое — субъект действия: (α) м.-к. *vāfa kylgan kiši* (X. M., 122) 'проявивший верность человек'; а.-к. *men jazgan bunu Ak-sent* (Ш., 135) 'я, пишуший это Аксент'; *ol zaman bolgan töräçilärniñ* (8, 156) 'бывших в то время судебных заседателей'; *Kamenectä bolgan orus juxovlaguna* (24, 45a) 'на бывшие в Каменце русские (украинские) церкви';

б) определяемое — прямой объект действия: (α) кр.-т. *bergän atym-pu minmädi* (Д. К., 390) 'подаренного мной коня не седлает'; м.-к. *siz öltürgän kiši* (X. M., 122) 'убитый вами человек'; а.-к. *rap Lukaš vojtnuñ bergän hišadagi* (В., 91) 'подаренная паном Лукашом, войтом, памятка'; (β) а.-к. *satylgan pasikalaryny häm eki pasika satmagan* (28, 2376) 'проданные усадьбы и две усадьбы непроданные'; *jazylgan küpünä* (8, 26) 'к записанному сроку'; *äjtylgan borçnu* (24, 66a) 'названный долг'; (γ) а.-к. *Mixno berip edi spravalaryny fascikul içinä möhürlägän da vlasnyj xolum bilä jazgan* (24, 446) 'Михно подал дела, запечатанные в пакете и писанные его собственной рукой';

в) определяемое — косвенный объект действия, в том числе обстоятельственные дополнения места и времени: (α) ст.-узб. *atası barıan jergä bardı* (К. Р., 162) 'он пошел в место, в которое ходил его отец'; *oltıruyan vaktıda* (К. Р., 163) 'в то время, когда он сидел'; (β) л.-п. *aş bişürgän ev* (К. К., 11) 'помещение, в котором готовят пищу'; а.-к. *üç juyangan jer* (Т. С., 339) 'три места, в которых молятся'.

Согласно критерию определенности — неопределенности субъекта действия, выраженного глагольным именем, определение может быть определенно-личным (а; ба, γ; ва) и неопределенно-личным (бβ, вβ). Субъект действия, если он сам не является определяемым (а), может быть представлен: 1) аффиксом притяжательности определяемого объекта: *bergän atım* 'подаренный мной конь'; 2) тем же аффиксом, соотносением с именем деятеля в посессивном падеже: *menim bergän atım* 'подаренный мной конь', *xarğaşniñ bergän atı* 'подаренный братом конь'; 3) именем деятеля в неопределенном падеже, употребленным как определение к глагольному имени-определению и определяемому объекту: *ata barıan jer* 'место, в которое ходил отец'. По своей структуре этот тюркский трехчлен⁷ соответствует славянскому атрибутивному сочетанию с причастным оборотом в качестве определения, в котором субъект действия выражен эргативным падежом.

В армяно-кыпчакской речи широко использовались славянские причастия в функции кыпчакского глагольного имени на -gan, чему способствовало отождествление их билингвами: *şafarlarnıñ aşıya specirnikovapıj* (42, 1246) 'экономов, названных ниже'; *pevnyj kontrakt ermeni tüzlärindän utru zavartyj* (28, 237a) '(подали) определенный договор, составленный в отношении армяно-кыпчакских угодий'; *sehmistırlar rokovıj bı jylga obrapıj* (27, 160a) 'годовые цехмистры, избранные на этот год' и т. п.

Очевидная грамматическая аналогия кыпчакского глагольного имени на -gan славянскому причастию в функции определения, подлежаще-

⁷ Е. А. Поцелуевский. Тюркский трехчлен. М., 1967.

го (выше — пункт А. I) и сказуемого (выше — пункт А. II) стала основополагающей базой для их полного семантического и функционального отождествления билингвами. Вследствие этого процессуальное свойство, выражаемое глагольным именем, перестало восприниматься субстанциально, а само глагольное имя в сознании билингва превратилось в причастие, тождественное славянскому. Закрепление за причастием на -*gaп* функций славянского причастия (выше — пункт А. III) устранило позиционные ограничения в его употреблении по отношению к определяемому. Глагольное имя на -*gaп* как определение могло употребляться лишь в препозиции; причастие на -*gaп* с одинаковой вероятностью встречается как в препозиции, так и в постпозиции, не превращаясь в определяемое: *satylgan pasikalarny hām eki pasika satmagan* 'проданные усадьбы и две усадьбы непроданные'. Если бы адъективация оказалась неполной, то глагольное имя в постпозиции было бы определяемым, а фразу следовало бы переводить иначе: «две проданные усадьбы и непродание двух усадеб», что приводит к бессмыслице. Более того, распространенный причастный определительный оборот, как и в славянских языках, стал чаще употребляться в постпозиции (γ). Заметим, кстати, что и прилагательное в армяно-кыпчакском языке, вследствие выделения его в сознании билингвов в отдельный грамматический класс, также употребляется без позиционных ограничений.

Адъективация глагольного имени на -*gaп* сделала возможной субстантивацию его аналогично славянскому причастию в случае редукции определяемого, благодаря чему в армяно-кыпчакском языке возникли существительные типа *jaratkan* 'творец' < *jaratkan bij teṅri* 'творящий господь бог'; *ināngān* 'верующий' < *ināngān kiši*; *antičkān* 'присяжный' < *ant* 'присяга' + *ičkān* 'выпивший' + *töräci* 'судебный заседатель'.

Дальнейшее семантико-функциональное уподобление причастия на -*gaп* его славянскому аналогу связано с устранением отличий в уподобляемом. Первым шагом было ограничение ряда определяемых. Причастие на -*gaп* более не употребляется как определение к косвенным объектам выражаемого им действия. Дефицит средств выражения процессуальных признаков этих объектов был компенсирован за счет образования придаточных определительных предложений. Так, вместо возможного раньше **orus bij teṅriṇiṅ xuluxu otpravatsa bolgan juxovlaryna* образовалась конструкция с придаточным: *orus juxovlaryna, xajsilärindä bij teṅriṇiṅ xuluxu otpravatsa bolujur* (24, 45a) 'на русские (украинские) церкви, в которых отправляется служба божья'. Образование сложноподчиненных предложений не является абсолютно чуждым тюркским языкам. Так, еще в памятнике в честь Кюль-Тегина встречается сложноподчиненное предложение с придаточным определительным: *ол амти ангиг йок тюрк каған* (М. П., 27) 'тот тюркский каган, у которого нет нынешней порчи'. Но если в памятниках древне- и среднетюркской эпохи, как и в современных тюркских языках, классифицируемых как синтетические, употребление придаточных определительных носило и носит случайный либо стилистический характер, то для армяно-кыпчакского — это единственное средство выражения причастного предикативного определения.

Б. Глагольное имя на -*gaп* с аффиксом притяжательности, обозначая процесс, действие как субстанцию, употреблялось в грамматических падежах:

а) именительном-неопределенном как:

I.2. подлежащее: ст.-узб. *meniṅ ajdyanym ne bolgaj* (К. Р., 164) 'о чем будет сказанное мной';

II.2. сказуемое: ккалп. емен а҃аһнун ијилгені syngany (Б. П., 114) 'дуба сгибание — ломание';

б) родительном-посессивном как:

III.2. посессивное определение (опредетельное дополнение): ст.-узб. anlarny sävtäyänimniñ sababy bu kim (К. Р., 165) 'причина того, что я их не люблю, такова, что';

в) винительном как:

IV. прямое дополнение: кр.-т. olğanуны jaza (Д. К., 385) 'он пишет о том, что с ним произошло'; ст.-узб. müsliман bolğanуны kişigä ajtmady (К. Р., 164) 'она не сказала людям, что стала мусульманкой';

г) дательном-лативе как:

V. косвенное дополнение: ккалп. meniñ uykламауанума көр вакт boldy (Б. П., 117) 'мое неспанье (бодрствование) было (длилось) много времени'.

Исконное глагольное имя на -gaп по своему значению и функциям в данном случае близко славянскому отглагольному существительному, также обозначающему процесс как субстанцию, но вневременную и безличную: I.2 сказание, II.2 сгибание, ломание, III.2 нелюбовь, IV. бытие, становление, V. неспанье (бодрствование). Отождествление в сознании билингва глагольного имени на -gaп и славянского отглагольного имени оказалось невозможным, так как первое все более уподоблялось славянскому причастию, а, кроме того, в армяно-кыпчакском языке имеется более полное соответствие славянскому имени — имя на -тах, также безличное и вневременное.

Новое причастие на -gaп, вопреки своей природе, в функциях (Б) в армяно-кыпчакском языке как категория не употребляется. Однако отдельные его формы, субстантивировавшись, то есть утратив значение временной и субъектной соотнесенности, перешли в разряд отглагольных имен, и за ними закрепилось значение результата действия: ki alar bil-gänläriñä körä spravovassja bolgajlar (28, 2376) 'чтобы они вели дела по своему усмотрению' [ср.: kensi bijänmäsyna körä (42, 82a) 'по их собственному усмотрению'], kelgäniñä anča хайнатамны (8, 2976) 'до прихода моего тестя', bu joуary jazылган barčany simärlägäny (24, 45a) 'это все, описанное выше в моем завещании', antičkändäп soңга (Г., 285) 'после присяги' и т. п. Такая субстантивация свойственна и другим тюркским языкам, поэтому славянские прототипы оказались легко воспроизводимыми.

В. Глагольное имя на -gaп с аффиксом притяжательности, указывая на процесс, действие как субстанцию, соотносимую с действием, указанным сказуемым, употреблялось в неграмматических (конкретных, пространственных) падежах — направительном, местном, исходном — как обстоятельство:

VI. времени, обозначая действие:

а) одновременное: кр.-тат. таң atkanda түşдäј köräm (Д. К., 390) 'когда рассветает, я вижу во сне'; л.-п. ха҃да ölgändä оуулың (К. К., 139) 'когда твой сын умер на кресте'; boronitca bolganda jaraladym Kirkorny (Г., 179) 'я ранил Киркора';

б) предшествующее: кар. kelgenimden (М. К., 272) 'после того, как я пришел';

в) последующее: кр.-ур. biz Doneckke kelginčä ol orada bolgaj da 'пока мы приедем в Донецк, он уже будет там';

VII. причины: ст.-узб. korkıanyndan rastny ajtdy (К. Р., 165) 'из-за того, что испугался, он рассказал правду';

VIII. условия: м.-к. bij alıyanda sen dayу al (П. К., 79) 'если господин взял, возьми и ты';

IX. образа действия и состояния: кр.-т. *men juklayanda tüşdäj köram* (Д. К., 390) 'когда я сплю, я вижу во сне';

X. связи и отношения: кр.-т. *massovyj işke kelgende, işler daa osal* (С. К., 256) 'что касается массовой работы, то дела пока плохи'.

Уступив место соответствующим придаточным предложениям, имя на -*gap*, вследствие его адъективации и дальнейшего уподобления славянскому причастию, перестало употребляться в функции обстоятельства (пункт В). И только благодаря трансформации одной из его падежных форм в деепричастие, глагольно-именная исходная форма в дальнейшем употреблялась в функции обстоятельства. Произошло это следующим образом.

Поскольку дательно-направительный (иногда называемый эквативом) падеж на -*ča*, -*čä*, -*če* исчез из парадигмы именного склонения, а его признак превратился в один из словообразовательных аффиксов наречий именного происхождения (кр.-ур. *evše* 'домой', а.-к. *apča* 'до тех пор', *bağča* 'всяческим образом' и т. п.), то и бывшая падежная форма имени на -*gap* (например, *bağapča* 'пока он пойдет') стала восприниматься как деепричастная. Благодаря этому она сохранилась и тогда, когда само глагольное имя адъективировалось: *uprotenatsa bolmisärlär anginčä*, *negä dirä volnyj bolginčä* (24, 456) 'не должны напоминать до тех пор, пока он не освободится (от осложнений)'. Адвербиализация этой формы оказалась окончательной и потому, что она претерпела также фонетическую трансформацию: *-gapča > -ginčä*.

Несколько дольше, чем другие падежные формы глагольного имени на -*gap*, употреблялась форма местного падежа. Объясняется это, по-видимому, тем, что синтетический местный падеж на -*n(da)*, -(*n*)*dä*, -*ta*, -*tä* использовался довольно ограниченно вследствие широкого употребления послеложного местного падежа с послелогами именного происхождения *üst-*, *al-*, *jaп-* и другими, а также в связи с употреблением дательного грамматического (-*ga*, -*pa*) в некоторых аспектах местного падежа. Таким образом, возникли, пусть и слабые, основания для адвербиализации формы местного падежа. Однако процесс этот не был доведен до конца, так как форма на -*gap* вскоре превратилась в причастие, а следовательно, уже не могла стать основой для образования деепричастий.

Итак, трансформация глагольного имени на -*gap* в причастие, хотя и происходила внешне аналогично адъективации имен со значением качества как субстанции, однако была вызвана не внутренними факторами саморазвития армяно-кыпчакского языка, а системным влиянием языков славянских: глагольное имя не только адъективировалось, но и уподобилось славянскому причастию. Эта трансформация обусловила значительные синтаксические изменения: расширение области употребления придаточных предложений — подлежащих, сказуемых, дополнительных и обстоятельственных. И если для староузбекского языка, как и для других древних и современных кыпчакских языков, нормированных литературно как принципиально синтетических в синтаксисе, образование придаточных предложений вместо глагольно-именных развернутых членов предложения не является регулярным, то в армяно-кыпчакском языке придаточные предложения становятся во многих случаях единственным средством выражения предиктированных дополнений, подлежащих, субстанциальных сказуемых, обстоятельств и определений. Следовательно, процесс аналитизации синтаксиса армяно-кыпчакского языка в связи с адъективацией глагольного имени на -*gap* получил необратимый характер.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Б. П. — Н. А. Баскаков. Предложения с развернутыми членами в каракалпакском языке. — «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. III. Синтаксис». М., 1961.
- В. — S. Vásáry. Armeno-Kipchak Parts from the Kamenets Chronicle. — «Acta Orientalia Hungarica», t. XXII (2), стр. 139—189 (1969).
- Г. — Т. И. Грунин. Документы на половецком языке XVI в. М., 1967.
- Д. К. — G. Doerfer. Das Krimtatarische. — «PhTF», I.
- К. К. — G. Cuun. Codex Cumanicus. Budapestini, 1880.
- К. Р. — А. Н. Кононов. Родословная туркмен. М.—Л., 1958.
- М. К. — К. М. Мусаев. Караимский язык. — «Языки народов СССР. II. Тюркские языки». М., 1966.
- М. П. — С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. М.—Л., 1951.
- О. Ч. — N. Ostrovskij. Celik nasyl pişkinleşti. [Aq-Meşçid]. «Qıym ASSR devlet neşriyatı», 1937.
- П. К. — O. Pritsak. Das Kiptschakische. — «PhTF», I.
- С. К. — Э. В. Севортян. Крымско-татарский язык. — «Языки народов СССР. II. Тюркские языки». М., 1966.
- Т. С. — E. Tryjarski. Słownik ormiańsko-kipeczacki, t. I, z. 1—4. Warszawa, 1968—1974.
- Х. М. — Хорезми. Мухаббат-наме. М., 1961.
- Ш. — E. Schütz. An Armeno-Kipchak Parts on the Polish-Turkish Wars in 1620—1621. Budapest, 1968.
- 8—42, 157, 158 — номера армяно-кыпчакских актов, хранящихся по описи I в фонде 39 ЦГИА УССР в Киеве.

ОНОМАСТИКА

Б. ЧАРЫЯРОВ, С. АТАНИЯЗОВ

ДИАЛЕКТЫ И ТУРКМЕНСКАЯ АНТРОПОНИМИЯ

Туркменский язык принадлежит к числу многодиалектных. Территориальная разобщенность туркменских этнических групп в прошлом, специфика их хозяйственной деятельности, контакты с соседними иноязычными народами, слабая связь между отдельными туркменскими родами и племенами — обусловили образование не только этнографических особенностей (одежды, типа жилищ, хозяйственно-бытового уклада), но и различий фонетических, морфологических, семантических и лексических в диалектах и говорах.

Диалектные особенности в области антропонимии до сих пор не были предметом специального исследования. Между тем изучение их весьма важно для выявления исторических контактов между народами — носителями диалектов, уточнения ареала отдельных грамматических форм и лексических единиц в их имятворчестве, изучения различных мотивов выбора имени в диалектах, установления семантики антропонимов и т. д.

В данной статье рассматриваются некоторые диалектные особенности туркменских личных имен, различные ритуалы наречения новорожденного, лексико-семантическая и морфологическая структуры антропонимов разных диалектов.

В качестве фактического материала по диалектной антропонимии нами были использованы собственные наблюдения во время диалектологических экспедиций по районам республики, а также данные некоторых работ по диалектологии.

Для туркменской антропонимии характерны сложные, многосоставные имена, широко распространенные во всех диалектах и говорах. Например: *Atamyrāt* 'цель отца', *Bajramg'eldi* 'праздник пришел' (муж.), *G'ülžemāl* 'цветок-красавица', *Oýulbayt* 'сын+счастье' (жен.) и т. д. В последние годы данная традиция часто нарушается, предпочтение отдается простым, односоставным именам типа: *Myrāt* 'цель', *Amān* 'здоровый', *Merg'ep* 'меткий стрелок', *Өerdār* 'вождь' (муж.), *G'ödel* 'красавица', *Žepnet* 'рай', *Māja* 'верблюдица', *Šek'er* 'сахар', *G'ül* 'цветок', *Žegen* 'джейран', *Maral* 'марал', 'лань' (жен.) и т. д.

Древний обычай — наречение детей именами умерших (а иногда и живых) родственников (деда, бабушки, отца, матери, брата, сестры) сохранился в некоторых диалектах (ТД, ЕД, ЁД, КД, НД), где очень часто встречаются имена типа: *Ата Атаев*, *Ага Агаевич Агаев* и т. д. Этот обычай распространен среди многих, не только тюркских, народов.

Например, болгарский писатель Ангел Тодоров пишет: «По нашему обычаю так заведено: имя не пропадает, потому что первый внук получает имя деда, первая внучка — имя бабушки»¹.

У туркмен ребенок, нареченный именем деда или других старших родичей, окружен особой заботой и почитанием. К нему обращаются, как к старшим: ата 'дед', qāqa, dā:de 'отец, папа', atām 'мой дед', qāqam 'мой отец', māma 'мать, мама', ene 'бабушка', или же: gaḡḡy 'старик, старуха', k'empir 'старуха' (это обращение к девочкам встречается только в Ташаузской области). Прежде, когда рождение и имена новорожденных у туркмен официально не регистрировались, подобные слова-обращения к младенцам закреплялись за ними и становились их фактическими именами. Поэтому у старшего поколения носителей соответствующих диалектов очень часто встречаются имена типа Ata, Atažān ('душа+отец'), Qāqa, Qāqažan, Bāba ('дедушка'), Ene, Māma ('бабушка'), Gaḡḡy, Ene-gaḡḡy, в НД — Ek'e², в литературном — Āya ('старший брат') и т. д.

Традиция наречения детей именами старших родственников не сохранилась в приамударыньских диалектах (ЭД, ОД, сак., ХД, эсги, арабачы, чандыр, чегес, меркит и др.), поэтому в их антропонимии отсутствуют имена типа Ata, Qāqa, Dā:de, Ene, Gaḡḡy, Māma, Bāba и др. Эти слова, составляющие иногда первый компонент сложных антропонимов (Ataḡ'eldi, Māmag'ül, Bābag'eldi), имеют иную мотивировку, чем в ЕД и ТД. Например, имя Ataḡ'eldi дают мальчикам, родившимся в день приезда, возвращения отца домой (из дальней поездки, с военной службы и т. д.).

Диалектные различия присущи также именам самых младших (последних) детей в семье. Например, в ЕД и ТД их называют K'iči 'маленький (-ая), младший (-ая)', K'ičig'ül 'маленький цветок', K'ičiyūḍ 'маленькая девочка', K'izžik'g'ül (СЕД), K'ışšik'g'ül (ЗЕД) 'маленький цветок', Gūḍža и Gūtža 'девчонка', K'ičiyul³ 'маленький раб' (ЗЕД), K'ičiqāqa 'маленький папа', K'ičiata 'маленький дед', K'ičihān 'маленький хан' (ТД), а в ЭД — K'ögpe 'младший, младшая', G'enže⁴, G'enži (муж.), G'enžeg'ül, G'enžig'ül (жен.) в тех же значениях, в АД — Balaža 'маленький' (муж.), Bā:bek 'крошка, младенец, малютка' (муж. и жен.) и т. д.

Желание родителей иметь сына и недовольство появлением на свет дочерей нашло отражение в антропонимии почти повсеместно, но в каждом диалекте по-разному. Если имена девочек Oḡulḡ'egrek 'сын нужен', Oḡulboldy 'сын родился', Oḡulžemāl 'сын+красота' и другие встречаются в большинстве диалектов, то девичьи имена Jeter 'довольно' (МД, ХД), Dojduk 'насытились', Beḍḍir (литер. Beḍdir) 'довольно, хватит', Dürli 'разнообразие', G'egrek'teḍ 'не нужно' (ТД), Gojan — от слова gojmak 'оставить', то есть 'пусть оставят в покое нас девочки', Āqgojan (āq 'белый'+gojan), Dōlan 'переполнено', Dōlang'ül 'переполнено цветами' (ЭД), Jaḡul⁵ 'обновись', Jaḡyldy 'обновилось' (СЕД, МД, ХД) и другие узко локализованы.

¹ Газета «Известия» от 6 ноября 1971 г.

² Слово *ек'е* встречается в женской антропонимии ЭД (Ek'ežān, Oḡulek'e), но здесь оно означает 'старшую сестру', и обычай наречения этим именем совсем иной.

³ В ЗЕД слова *gul* 'раб' и *gulža* (ḡa)ḍ 'маленький раб' употребляются также в смысле «сын».

⁴ У Махмуда Кашгари *gaḡḡ* 'ребенок' (Махмуд Кошғарий. Девону лугот-ит түрк, т. I. Тошкент, 1960, стр. 276, т. II, стр. 351).

⁵ Слово *jaḡulmak* в древнетюркском языке имело значение «ошибаться, заблуждаться, погрешать» (Г. Айдаров. Язык орхонских памятников древнетюркской письменности VIII века. Алма-Ата, 1971, стр. 359). Сравните совр. туркм. *jalḡyş* (от *jaḡ+yl+yş*) 'ошибка, ошибочно'.

Туркменская антропонимия очень богата различными диалектными словами, выражающими желание родителей иметь много сыновей: *Tirk'eš*, *Tirk'iš* — от слова *tirk'ešmek* 'следовать друг за другом' (СЕД, МТД, ЭД), *Erg'eš* — от диалектального слова *erg'ešmek*, узбекского *irg'ašmoq* — того же значения (ЧГД), *Ujšüm* — от слова *üşmek* 'собираться' (ЭД), *K'ä:nep* (литер. *K'örel*) 'умножайся' (СЕД), *Ö:ren* (литер. *k'örelen*) 'умноженный' (диал. ата), *Soýda* (литер. *topbak*, *üşmek*) 'куча' (КД), *K'ügen* 'большой', 'большая куча', *K'üreng'eldi* *досл.* 'куча пришла', то есть 'пусть родится куча детей' (ЗЕД), *Otuđ* 'тридцать', *Altımyş* 'шестьдесят', *Өег'Өеп* 'восемьдесят' (СЕД, ЧД, ЕД) и др. Желание иметь больше сыновей с пожеланием им долголетия также нашло отражение в антропонимии, восходящей к названиям растительного мира пустыни: *Өäbaq* 'саксаул' (*Haloxylon*), *Өöden* 'песчаная акация' (*Ammodendron*), *Bögzaq* 'хвойник', (*Ephedra*), *Gandym* 'жузгун' (*Calligonum*), *Cerkeđ* 'солянка Рихтера' (*Salsola*) и т. д.

Для некоторых диалектов характерно использование порядковых чисел для наречения сыновей (начиная со второго сына). Например,

второму сыну даются имена: *Deñli* (ЭД), *Зöга* (ЭД, ЧГД), *Täjly* (ЗЕД) 'пара', 'имеющий пару', то есть брата; **третьему**: *Töre*⁶ (сурхы); **четвертому**: *Sägu* — от персидского چار *chär* 'четыре', *Sägujār* 'четыре друга' (повсеместно), *Dö:rtguly* 'четыре раба' (ЗЕД); **пятому**: *Bä:šim* 'мой пятый' (во всех диалектах), *Bä:ši* 'пятый' (сурхы), *Penži* — от персидского پنج *räpž* 'пять' (ЭД, ЧГД); **шестому**: *Alty*⁷ 'шесть' (ТД, ЕД, сурхы), **седьмому**: *Jedi* 'семь', *Jedibāj* 'семь богачей', *Jedinađar* 'семь+взгляд (аллаха)' (АТД, СЕД, сурхы); **восьмому**: *Өek'id* 'восемь', *Өek'idhān* 'восемь ханов' (сурхы, КД); **девятому**: *Doquđ* 'девять' (сурхы); **десятому**: *Op* 'десять' (СЕД, сурхы) и т. д.

Слово *āq* 'белый' очень активно выступает в ЭД, сар. и отчасти в МТД в качестве первого компонента сложных имен: *Āqmyrāt*, *Āqmāmmet*, *Āqbāj*, *Āqgurbān*, *Āyogād* (муж.); *Āqbā:bek*, *Āqg'ödel*, *Āqg'ül*, *Āqžemāl*, *Āqnaбат*, *Āqnūr*, *Āqbeg'i*, *Āqbi:k'e*, *Āqbi:bi*, *Āqžag'ül* (жен.) и т. д. Как правило, именем с компонентом *āq* называли только первого ребенка в семье. Это связано с древним поверьем: слово *āq* в составе имени приносит счастье и благополучие ребенку и его родителям. Следует отметить многозначность слова *āq*. Например, В. В. Радлов указывает три его основных значения: 1) белый; 2) чистый, несмешанный; 3) добродушный, чистосердечный, невинный. Широко употребительно данное слово в качестве названий животных, рыб, птиц, растений, минералов, частей тела, болезней, свойства человеческого характера, а также личного имени и обозначения географических объектов⁸. Это подтверждается материалами туркменского языка и его диалектов. Например: *āq jöl* (*досл.* 'белый путь') 'счастливого пути', *āq jürek*, *āq gövün* 'чистосердечный', *āqtaкаl* (*досл.* 'белобородый') 'старший', 'уважаемый', *āq öj* 'новый дом', *āq ek'in* 'зерновые', *āq dāhmet* 'чистый труд' и т. д. Поэтому родители, нарекая своего первенца именем с компонентом *āq*, как бы тем самым выражали ему пожелание счастья.

Древний обычай — наречение ребенка двумя именами (действительным — *чын ат* и ложным — *ялан ат*) — сохранился у многих наро-

⁶ В орхонских надписях слово *töre* означало «верхушку, верх» (Г. Айдаров. Указ. раб., стр. 364), а в Бухарском эмирате, по рассказам старожил, — «третьего», а иногда «четвертого лица по чину».

⁷ Имя *Alty* носят также шестипалые мальчики.

⁸ В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, т. I. СПб., 1893, стр. 88—95.

дов, а также в ТД и СЕД туркменского языка; он связан с ранними мифологическими поверьями: для введения в заблуждение «злых духов» люди не произносили настоящего имени своего ребенка, называя его ложным именем.

Наречение детей новым именем (до 5—6-летнего возраста) после перенесения ими продолжительной болезни сохранилось в ЭД, ОД, МД, ХД и ЧГД. При этом в качестве новых имен чаще других используются такие, как *Aşy* (букв. 'откройся') 'выздоровливай', *Aşyldurdy* 'выздоровливай+сохранись', *Aşyldy* 'выздоровел', *Sojan* (литер. *şojan*) 'чугун', *Temir* (литер. *demir*) 'железо', *Polat* 'сталь', *Bek'polat* 'крепкий+сталь', *Bek'bol'dun* 'пусть будет крепким', *Bek'durdy* 'крепко встал на ноги' (муж.), *Aşylg'ül* 'выздоровливай+цветок' (жен.) и др.

В ТД, СЕД и в некоторых других диалектах нашел отражение обычай заменять новым именем имена взрослых женщин, главным образом невесток, что является одной из характерных особенностей туркменской антропонимии. При этом в некоторых местностях восстанавливают настоящее, но ранее не употреблявшееся имя невестки (*чын ат*). Если кто-то из членов семьи мужа носит такое же имя, то, во избежание повторения и путаницы, у невестки либо изменяют один из компонентов ее имени, либо же — оба компонента (то есть дают совершенно новое имя). При этом главную роль играют вкус родителей мужа, семейные традиции в выборе имени⁹ и т. д.

Таким образом, девушка после замужества фактически носит два имени: одно официальное и известное только в родном селе, а второе — в доме и селе мужа. Однако этот обычай не сохранился в антропонимии многих диалектов и говоров. Да и в упомянутых ТД и СЕД он в настоящее время часто нарушается.

Диалектные особенности имеют также имена людей, рождение которых было ознаменовано какими-либо необычными обстоятельствами или событиями. Например, ребенку, родившемуся в плодном пузыре (в «сорочке»), дают имя в ЗД, ОД, ЧГД типа *Perde* 'плева, оболочка', *Perdeli* 'имеющий оболочку' (муж.) *Perdeg'ül* 'оболочка+цветок' (жен.); в МТД — *K'öjne* 'рубашка' (муж.), в некоторых других диалектах и прежде всего в ЕД — *Tuvaq*¹⁰ (в значении *Perde*), *Tuvaqg'ül*, *Tuvaqtä:ç*, *Tuvaqgylyç*, *Orädtuvaq*, *Oyultuvaq* и т. д. Во времена Махмуда Кашгари родившегося при подобных обстоятельствах ребенка нарекали именем *Garlyy*¹¹.

Компонентом имени ребенка, родившегося с родинкой или родимым пятном, обычно являются слова *meñ*, *hāl||hal* (персидское *خال* *xāl*), *tä:ç* и *pär*, обозначающие различные по объему и цвету пигментные пятна на теле человека. Например, и *hāl*, и *meñ* означает «родинку»¹², *tä:ç* — большое черно-бурое пятно, которое в Чарджоуской и Марыйской областях называется еще и словом *pär* (букв. 'гранат'). Например: *Meñli*, *Oräbmeñli*, *Tä:ži*, *Tä:çli||Tä:šli*, *Hälly* (муж. и жен.), *Meñlinepeñ*, *Tä:çmyrät*, *Tä:çmuxammet*, *Tä:çmämmet*, *Hāl*, *Hällygylyç*, *Häldurdy* (муж.),

⁹ Существование подобных традиций во многих семьях подтверждается фактами. Например, одни семьи предпочитают названия хищных зверей, другие — растений, третьи — созвучные, одинаково оканчивающиеся имена типа *Aqmyrat*, *Beg'myrät*, *Veimyrät*, *G'eldimyrät*, *Durdymyrät* и т. д. (см.: К. Овезбердыев. Семейные отношения у туркмен Мервского оазиса в конце XIX — начале XX века. — «Исследования по этнографии туркмен». Ашхабад, 1965, стр. 106).

¹⁰ В ЭД, МТД и ДД — это женское имя, а в остальных — и мужское, и женское.

¹¹ «Древнетюркский словарь». Л., 1969, стр. 421.

¹² У поэта Кемине *hal* употребляется в значении «родинка»: *Aq jüde hällaryñ poqtadan k'ici* 'Родинки на твоём белом лице меньше точки'.

G'ültä:č, Oγultä:č, Tā:žig'ül, Tā:žig'ödel, Oγulhāl, Oγulhāly, Oγulmenli, Hālyg'ödel, Hālyžemāl (жен.) и др. Имена со словом *nār* активны только в Чарджоуской области: *Nār, Nārly* (муж. и жен.), *Oγul-nār, Nārg'ödel, Nārg'ül, G'ülnār* (жен.), *Nārg'eldi, Nārγuly, Nār-myrāt* (муж.) и т. д. Интересно, что в некоторых сложных именах оба компонента состоят из приведенных выше слов: *Meñlitä:č, Hältä:č, Nār-tä:č, Nārmenli, Halnār*. Дialeктные различия имеются и в употреблении слова *tä:č* (и *tuvaq*) в ЗЕД по сравнению с другими диалектами, а также в произношении слова *hāly*, которое в ТД, АД и других артикулируется с долгим *a* (*hāly*), а в диалектах Чарджоуской области (ЭД, ОД, сак., МД, ХД, сурхы, чандыр...), в НД, КД, ЕД, ЧД и других — с кратким (*hally*). В СЕД встречаются обе разновидности произношения, но *hally* (с кратким *a*) — в женских именах, а с долгим (*hāly*) — в мужских.

Фонетические варианты в диалектах имеет также слово *āppa* 'пятница', выступающее в качестве самостоятельного мужского и женского имени или в качестве компонента сложных имен¹³. Как отмечает А. Гафуров, слово *āppa*, употребляющееся только в туркменской, и *adine* — в таджикско-персидской антропонимии, являются усеченными формами арабского *jawm-az-zīna* или персидского *guzi adin* в значении «украшенный, иллюминированный день», то есть 'пятница', праздничный день у мусульман¹⁴.

В некоторых случаях в ЭД и у салыров Керкинского района слово *āppa* сохраняется в именах в своем первоначальном виде — *ādna: Ādna, Ādnanyjād, Ādnag'ül*; усеченная форма от них: *Ādy*; в КД — *ānda: Ānda, Āndaγuly, Āndag'ül*; в сарыкском диалекте — *ārna: Ārnanyjād, Ārnaγulyč, Ārnamygāt* и т. д.

Детей, родившихся в пятницу, то есть в «святой день», обычно нарекали именами: *Āppa* или *Žumā*. Названия остальных дней недели в качестве имен, как правило, не использовались. Исключение составляет ЧД, где очень активны календарные мужские имена типа *Jeg'šem* — от таджикско-персидского *jekšenbe* 'воскресенье', *Dūšem* (от *dušembe*) 'понедельник', *Ōi:šem* (от *sišenbe*) 'вторник', *Sā:šem* (от *čaršenbe*) 'среда'. Подобные имена встречаются и в антропонимии казахов¹⁵.

Единичные имена типа *Dūšy, Tūšy* (усеченные от *Dūšem*) нами зафиксированы в диалекте ата; они, кстати, очень распространены среди туркмен Турткульского района Каракалпакской АССР¹⁶.

В ЕД слово *pujād* 'усердие, просьба, мольба' (перс. نیاز *piāz* 'нужда'), выступающее в качестве первого компонента сложных имен, употребляется в форме *pāδ* перед словами с гласными заднего ряда (*Nāδyurbān-gurbān* 'жертва', *Nāδyulyč-gulyč* 'меч', *Nāδyuly-guly* 'раб его'; *Nāδtuvaq-tuvaq* 'оболочка') и *pā:δ* — перед словами с гласными переднего ряда (*Nā:δtā:č-tā:č* 'родинка', *Nā:δbi:bi-bi:bi* 'госпожа', *Nā:δq'ül-g'ül* 'цветок'). В ЭД, ОД и некоторых других диалектах данное слово сокращается до *jād*: *Jāδyuly-guly* 'раб его', *Jāδg'ül-g'ül* 'цветок', *Jāδmygāt-mygāt* 'цель', *Jāδberdi-berdi* 'дал' и т. д.¹⁷.

В туркменской (как вообще в тюркской) антропонимии отсутствует грамматический род, поэтому личные имена формально не разделяются

¹³ Наряду с *āppa* в туркменских именах очень активно выступает арабское *دعا* туркм. *žumā* 'пятница'.

¹⁴ А. Гафуров. Лев и кипарис. О восточных именах. М., 1971, стр. 45—46.

¹⁵ Т. Жанузаков. Қазақ есімдерінің тарихы. Алматы, 1971, стр. 117 и сл.

¹⁶ Из наблюдений авторов данной статьи.

¹⁷ Имена с компонентом *jād* (туркм. «весна») также даются детям, родившимся весной.

на мужские и женские¹⁸, но имеются отдельные слова, входящие только в женские (bi:bi, bi:k'e 'госпожа', g'ül 'цветок', gūd 'дочь', епе 'мать' и т. д.) и только мужские (oγul 'сын', guiyu 'раб его', berdi 'дал', bāj 'богатый', тугāt 'цель' и др.) имена. Лишь в ЧГД активны аффиксы арабского грамматического рода, проникшие сюда через посредство узбекского и таджикского языков. Например: Emi:n—Emi:ne, Halūm—Halūma, Šemθi—Šemθije, Tuγur—Tūrā, Øeli:m—Øeli:me, Rejim—Rejime, Neði:r—Neði:re, Zemi:l—Zemi:le, Šerāp—Šerāpat и др.

Очень интересным и богатым источником образования антропонимов является диалектная лексика. В данной статье мы ограничимся только некоторыми примерами: Bota (в ЁД — Pota, литер. k'ō:šek') 'верблюжонок', Aqbotā (ЗД); Dā:de (муж., литер. qāqa) 'папа, отец' (ЁД); Muγza (литер. gunča) 'бутоны розы', Mugzag'ül (МД); Perčīn (ЭД) (у Махмуда Кашгари barčīn¹⁹) 'шелковая материя', Tāṅg'ül²⁰ (tāṅ — литер. g'eṅ) 'интересный, удивительный' (жен., ЭД); Tāpa (литер. g'öle) 'теленос' (ЁД); Jaṇu (литер. tā:de) 'новый', Jaṇubaj 'новый бай' (ЭД); Jagaš (литер. g'elšik'li) 'статный', 'стройный' (муж.) и т. д.

Довольно разнообразны в диалектах также аффиксы, образующие ласкательно-уменьшительные имена. Следует отметить, что подобными именами теперь зовут только детей. Однако до революции, когда рождение ребенка и его имя не регистрировались, подобные имена закреплялись в качестве официального имени на всю жизнь.

Ласкательно-уменьшительные аффиксы, как правило, прибавляются к усеченным простым и сложным именам. При этом у сложных имен отбрасывается вторичный компонент, а иногда и несколько слогов первого компонента. К оставшейся части имени примыкает аффикс: Qāqadurdy, Qāqamyṛāt — Qāqav, Zumāyuly, Zumāmyṛāt — Zummy, Zūmmi и т. д.

Рассмотрим несколько подобных аффиксов:

-av, -ev, -v: Arbav, Qāqav, Nūrav, Atav (муж., АД, ТД); Ežev, Enev (АД, ТД); Bažav, Oγrav (от Juθur), Šaxav (жен., хас.);

-aq, -ek', -k: Øejtek', G'eldek', Zumaq, Nūraq, Durdaq (муж., ЭД, СЕД);

-aqga, -ek'ge: Ataqa, Hožaqga, Hommaqga (муж.), Ežek'ge (жен., ТД);

-alaq, -elek': Abalaq, Bābalaq, Beg'elek', Zumalaq, Övelek', Poθalaq (муж., ТД, ЭД);

-ej: G'ülej, Šaxej (жен., хас.);

-ža, -že: Aqža (муж. и жен.), Garaža, G'ökže, Meleže, Øāryža (муж., ЁД, ТД, ЭД);

-žyq, -žik': Āyažyq, Atažyq, Gāržyq, Mā:tžik', Pi:ržik', Ā:ržik' (ЁД, ТД, ЭД);

-laq, -lek': Jllek, Ā:rlek', Pi:rlek' (муж., ЭД);

-ly, -li: Ašyrly, Gully, Zumāly, Nūrly, Øaparly, Tojly, Hāily, Nārly (муж., ТД, ЁД, ЭД);

¹⁸ В. А. Никонов. Размежевание личных имен по полу у тюркоязычных народов. — «Советская тюркология», 1972, № 2, стр. 64.

¹⁹ «Древнетюркский словарь». Л., 1969, стр. 83. По-видимому, имя восходит к этому древнему слову.

²⁰ Исторически слово tāṅ означало (у Махмуда Кашгари) «чудо», «удивительный, необычный» («Древнетюркский словарь», стр. 532). Именем Tāṅg'ül нарекали девочек, родившихся в день тоя, праздника.

- mma**: Orāmma, Momma, Nomma, Pomma (муж., МТД);
 -**mmu**, -**mmi**: Mommu, Nommu, Šammu, Nūmmi (муж., МТД);
 -**mma**: Nūmma, Nāmma (муж.), Guppa (жен., ТДА);
 -**y**, -**i**: Øejti, Ajty, Hajty (муж., ЭД) и т. д.

Как видно из вышеизложенного, диалектные личные (собственные) имена содержат интересные данные по исторической лексике языка, фонетике и морфологии диалектов, а также указывают на этногенетические связи между диалектами и говорами туркменского языка и другими родственными и неродственными языками.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

<i>АД</i> — алилинский диалект;	<i>сак.</i> — сакарский диалект;
<i>АТД</i> — ахальский говор текинского диалекта;	<i>сал.</i> — салырский диалект;
<i>ДД</i> — дюеджинский диалект;	<i>сар.</i> — сарыкский диалект;
<i>ЕД</i> — емрелинский диалект;	<i>СЕД</i> — северные говоры ёмудского диалекта;
<i>ЕД</i> — ёмудский диалект;	<i>ТД</i> — текинский диалект;
<i>ЗЕД</i> — западные говоры ёмудского диалекта;	<i>хас.</i> — хасарский диалект;
<i>КД</i> — карадашлинский диалект;	<i>ХД</i> — хатабский диалект;
<i>МД</i> — мукрынский диалект;	<i>ЧГД</i> — чарджоуская группа диалектов (диалекты и говоры Чарджоуского, Дейнауского и Фарабского районов);
<i>МТД</i> — марыйский говор текинского диалекта;	<i>ЧД</i> — човдурский диалект;
<i>НД</i> — нохурский диалект;	<i>ЭД</i> — эрсаринский диалект.
<i>ОД</i> — оламский диалект;	

СООБЩЕНИЯ, ОБЗОРЫ

М. Б. МАМЕДОВ

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ

(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Н. НАРИМАНОВА И ДЖ. МАМЕДКУЛИЗАДЕ)

Русская революция 1905 года, «вызвавшая движение во всей Азии» (В. И. Ленин), оказала большое влияние на развитие периодической печати в Азербайджане. Представители прогрессивной национальной интеллигенции и революционные демократы, работавшие в редакциях различных газет и журналов, в своих статьях популяризировали и пропагандировали идеи марксизма среди масс. Ряд азербайджанских периодических изданий того времени сыграл значительную роль в развитии азербайджанского литературного языка, и прежде всего его публицистического стиля. Публицистический стиль в свою очередь способствовал, с одной стороны, обогащению словарного состава литературного языка новой общественно-политической и научно-технической терминологией, а с другой — значительно расширил функционально-стилистическую сферу употребления литературно-речевых средств. В этом отношении исключительную роль сыграли публицистические произведения выдающихся революционных демократов — Дж. Мамедкулизаде и Н. Нариманова, оказавшие огромное влияние на общественно-политическую и культурную жизнь азербайджанского народа.

Публицистическое наследие Н. Нариманова и Дж. Мамедкулизаде весьма обширно. Оба они начали свою деятельность в тот период, когда прогрессивная печать в Азербайджане особенно ожесточенно преследовалась властями и подвергалась нападкам реакции. Н. Нариманов и Дж. Мамедкулизаде, стремясь создать национальную революционную публицистику, опирались в этом на опыт русской революционно-демократической публицистики XIX века и на философскую публицистику М. Ф. Ахундова. Н. Нариманов писал, что исключительная отсталость и невежество народных мусульманских масс требуют от него, чтобы он своим литературным и общественным трудом способствовал пробуждению их политического сознания и подготовке к грядущей революции. Дж. Мамедкулизаде в своих выступлениях отстаивал политические права народа.

Одной из характерных особенностей публицистического стиля, как известно, является широкое использование общественно-политической терминологии. Это полностью относится и к публицистическому творчеству Н. Нариманова и Дж. Мамедкулизаде.

Правильное, уместное и доступное употребление новых терминов должно было способствовать успешному распространению среди широких народных масс марксистско-ленинских идей, информированию читателей о научно-техническом прогрессе, а также обогащению словар-

ного состава азербайджанского литературного языка. Подавляющее большинство терминов и терминологических выражений, употребленных в публицистических статьях Н. Нариманова и Дж. Мамедкулизаде, вводились ими в азербайджанский литературный язык впервые и способствовали формированию нового публицистического стиля.

Революционная публицистика Н. Нариманова и Дж. Мамедкулизаде обогатила азербайджанский литературный язык такими терминами, как *марксизм, марксист, материалист, ленинизм, коммунист, коммунизм, социализм* и т. д. Эта публицистика ввела в обиход трудящихся масс десятки терминов типа *ингилаб* 'революция', *демократия, советлэр* 'советы', *конституция; республика, иттифаг* 'союз'; *пролетариат; бејнәлмилләчиллик* 'интернационализм', *манифест; кооперация; капитал, эмәк* 'труд', *дөвләт* 'государство' и т. д.

Часть новых терминов Н. Нариманов и Дж. Мамедкулизаде для облегчения их понимания употребляли вместе с их русскими параллелями (в скобках или без скобок). Например: *лајинә* (проект), *дарулфунун* (университет), *мунагишә* (конфликт), *мүһәндис* (инженер), *тәләбә* (студент), *нәзәријә* (теория), *мәчмүә* (журнал), *чүмһуријјәт* (республика), *гибләнума* (компас) и т. д.

Интересно отметить, что некоторые термины снабжались необходимыми толкованиями и использовались в различных стилистических целях. При этом значение термина обычно пояснялось в последующем обороте, вводимом посредством слова *јә'ни* 'то есть'. Так, например, в публицистических произведениях Н. Нариманова разъяснение этимологии терминов (*ичтима* 'общество', *әгидә* 'убеждение', *парламент, дума, бојкот, комедија, феодал, вассал* и т. д.) часто сочетается с использованием их для целей политической пропаганды. Например: *Сосиализм «сосиоз» сөзүндәндир, јә'ни латынча јолдаш демәкдир. Јә'ни биз дејирик: бир вахт кәләчәкдир ки, инсанлар бир-бири илә јолдаш, мүттәфиг олачаглар* (Н. Нариманов) 'Социализм происходит от слова «сосноз», то есть означает по-латыни «товарищ». То есть мы говорим: настанет время, когда люди будут друг для друга товарищами, союзниками'.

Дж. Мамедкулизаде использовал этимологическое толкование терминов большей частью как сатирик с обличительной целью. Весьма показательно, с этой точки зрения, использование им терминологических слов типа *аһәнрүба* 'магнит', *милләт* 'нация', *ковдан* 'невежда', *мурдап* 'поганный', *мәдфән* 'место погребения', *гејрәт* 'доблесть'.

Так, фельетон «Магнит» начинается таким этимологическим экскурсом: *«Аһәнрүба» — јунанча магнетис, русча магнит; бу бир чөвһәрди ки, дәмири чәлб едир, јә'ни өзүнә тәрәф чәкир* (Ч. Мәммәдгулузадә) «Аһәнрүба» означает по-гречески «магнетис», по-русски «магнит». Это такое вещество, которое увлекает, то есть притягивает к себе железо'.

Далее выясняется, что понятие «магнит» понадобилось писателю для разоблачения алчности иранских чиновников, «тянувших» к богатствам Кавказа.

Н. Нариманов и Дж. Мамедкулизаде весьма широко в своих публицистических произведениях использовали как стилистический прием многоточия и кавычки с эмфатическим заданием, иносказания и подтекст. Например: *Вәкилимиз сағ фирғәдән олурса, Череванскиләрин артамасына сәбәб олачагдыр... Буну унутмајыныз...* (Н. Нариманов) 'Если наш адвокат из правой партии, то он будет способствовать увеличению числа Череванских... Не забывайте об этом...' *Тифлисдә... көрүм нә истәјирдим дејим... јадымдан чыхды.* (Ч. Мәммәдгулузадә) 'В Тифлисе... что же, бишь, я хотел сказать... забыл'. *Бәли, «вәтән» бизи отуз ил ағзы*

məhurlu saxlaýib... «xejirxahлары» чанымыза чаламышды. (Н. Нариманов) 'О, да, «родина» тридцать лет держала нас с запечатанными устами..., приставив к нам «доброжелателей»'.

О значении многоточий Н. Нариманов писал не раз, стремясь привлечь к ним особое внимание читателей: «Если вы читаете газету лишь для того, чтобы скоротать время, то уж лучше не читайте... Если же вы читаете для того, чтобы ознакомиться с народной жизнью, тогда читайте внимательно: обращайтесь внимание на каждую мысль, каждое слово, каждую точку, особенно — многоточия... Если вы располагаете временем, вчитывайтесь в то, что говорится между строк»¹.

В фельетоне «Беседа» Н. Нариманов пишет о том, что он в свое время широко использовал в стилистических целях многоточия: «Европейские литераторы прибегают к многоточиям, когда по каким-то причинам оказывается невозможным писать о чем-либо интимном или сокровенном. Если читатели проницательны, то они поймут недосказанное пишущим, помогут писателю, раскрыв для себя смысл многоточий»².

Н. Нариманов подчеркивал, что в то время, как «соседние народы гнетет одна цензура, нас — сразу две: с одной стороны — государственная, с другой — религиозная. Они не дают нашим беднякам-литераторам ни охнуть, ни вздохнуть»³.

Дж. Мамедкулизаде также жаловался на тяжелый цензурный гнет и призывал своих читателей к проницательности: «В заключение своего высказывания я поставил многоточие, то есть не досказал своей мысли, ибо между нами были чужие люди»⁴.

Одной из характерных особенностей публицистического стиля Н. Нариманова и Дж. Мамедкулизаде было мастерское использование аллегорической формы, эзоповского языка для сатирического изобличения социальных язв. Русские революционные демократы в тяжелых условиях царской цензуры часто обращались к этому приему. А. В. Луначарский считал его использование одним из высших проявлений писательского искусства. М. Е. Салтыков-Щедрин, непревзойденный мастер сатирического эзоповского стиля, писал по этому поводу: «Моя манера писать есть манера рабья. Она состоит в том, что писатель, берясь за перо, не столько озабочен предметом настоящей работы, сколько обдумыванием способов доведения его в среду читателей. Еще древний Эзоп занимался таким обдумыванием, а за ним и множество других шло по его следам»⁵.

Революционные демократы Азербайджана — писатели, журналисты, публицисты, и в первую очередь Н. Нариманов и Дж. Мамедкулизаде, также часто использовали аллегорические и иносказательные формы для вскрытия социальных проблем. В своем фельетоне «Куда деваются деньги иранских рабочих?» Дж. Мамедкулизаде описывает бедственное положение рабочих, оставивших свои голодающие семьи в Иране, приехавших на заработки и получающих за свой тяжелый труд жалкие гроши. Для разоблачения эксплуататоров, наживающих несметные богатства на народном горе, публицист облакает свою мысль в иносказательную форму, бичуя «кровопийц» образно-экспрессивными словами:

¹ *Нариман Нариманов. Сечилимиш эсэрлэри.* Баку, 1973, стр. 359.

² Газета «Иршад», 1906, № 64.

³ Там же.

⁴ Журнал «Молла Насрэддин», 1910, № 31.

⁵ Цитируется по книге: А. И. Ефимов. Язык сатиры Салтыкова-Щедрина. М., 1953, стр. 436.

тэтавили-јэд 'руки загребушие'; *зэлилик* 'высасывание крови пиявкой'; *барама гурду* 'червь шелковичный'; *һөрүмчэк* 'паук'; *чэллад* 'палач'; *гулдур* 'бандит'. Прочитируем соответствующий диалог:

— Друг мой, чтобы стать владельцем этих роскошных зданий, не ударив палец о палец, существует лишь одно средство. Это средство на книжно-фарсидском называется *«тэтавили-јэд»* («руки загребушие» <букв.: «длинная рука»), на книжно-турецком — *зэлилик* («высасывание крови пиявкой»).

Мой товарищ не понял. Я сказал:

— *Шелковичный червь.*

Тот опять не понял. Я сказал:

— *Паук, палач, разбойник.*

— Не понимаю.

— Если не понимаешь, я поясню в следующем номере...

В другом фельетоне эта галерея аллегорических символических образов дополняется писателем еще «голодными микробами» (*ач микроблар*): «Веками к сладкому телу нашей нации присасывались миллионы голодных микробов, высасывая ее кровь».

В фельетоне с аллегорическим названием «Воронье» Дж. Мамедкулизаде разоблачают сторонники войны.

Империалисты, зарившиеся на природные богатства молодой Советской страны, на ее нефть, именуются писателем «лисами» («Чистая нефть и грязная нефть»). Караван паломников-гаджи он называет «стадом животных», «слепыми, совершившими путь в Мекку и обратно» («Стада животных»). Говоря о забитых, беспомощных и нуждающихся крестьянах, писатель переходит на юмористический тон, называет их «ягнятами», «козлятами», то есть словами, символизирующими смирение и покорность незапятнанных душ; при этом Дж. Мамедкулизаде стремится пробудить эти чистые души, пребывающие в спячке («Как отозвали Голошапова»).

Разоблачая служителей культа, Дж. Мамедкулизаде использует такие обобщенные аллегорические образы, как *аг эммамэли эждаһа* 'дракон в белой чалме', *көј эммамэли зэлилар* 'пиявки в синей чалме', *ики ајағлы сичанлар* 'двуногие мыши', *эммамэли бајғушлар* 'совы в чалме' и т. д.

Контрреволюционные силы Дж. Мамедкулизаде уподобляет тучам и в конце фельетона возвещает о наступлении весны — революции («Тучи»). Названия следующих фельетонов сами говорят за себя: «Обезьяны», «Червь», «Шакал», «Лягушки», «Коза», «Микробы» и т. д.

Говоря о революции и революционных силах, Н. Нариманов использует аллегорические слова и словосочетания типа *кун||күнәш* 'солнце', *баһар* 'весна', *атәш* 'огонь', *илдырым* 'молния', *шығ јолу* 'путь света', *үмид улдузу* 'звезда надежды' и т. п.; в отношении контрреволюционных сил он употребляет слова: *ғыш* 'зима', *гар* 'снег', *човғун* 'буря', *шејтан* 'сатана', *гара булудлар* 'черные тучи', *ач гузғунлар* 'голодное воронье', *һөрүмчэк* 'паук' и т. п. Например: *Човғунлу кечәдә компасыны итирмиш кәминин һаләтиндә булунурдуг...* *Сәһәр интизарында олуб, күнәшдән јол көзләјирдик.* (Н. Нариманов) 'Мы находились в положении корабля, потерявшего компас в бурную ночь... Мы страстно ждали наступления утра, чтобы солнце указало нам путь...' *Гара булудлар күнүн габағыны тутуб, гәммиз дәхи дә артыр* (Н. Нариманов) 'Черные тучи скрыли солнце, и наша печаль стала еще тяжелее'.

Говоря о бесперспективности союза, заключенного между Дурново, Битте и их приспешниками, Н. Нариманов путем аллегорического использования слов-антонимов «весна» и «зима» добивается соответствующего художественного эффекта: *Кетди сизин «рахәтлик» вәгтиниз! Инди баһар кәлмиш... зимистан гәләмләри сынмыш...* (Н. Нариманов) 'Ушли

времена вашего благоденствия! Настала весна, зима отступила...' Для характеристики отрицательных персонажей Н. Нариманов чаще других прибегает к аллегорическим образам: *гузгун* 'ворон', *һөрүмчәк* 'паук', *гурд* 'волк', *тулку* 'лиса'. Например: *Инсафсыз «һөрүмчәкләрдән» хилас олмаг үчүн бу фүгәра зәһмәткешләр топлашыб бир иттифаг дүзәлтдиләр...* (Н. Нариманов) 'Чтобы избавиться от пауков, эти бедняки сплотились в союз...' В фельетоне «Гузгунлар чәмдәк үстә» («Вороны над падалью») Н. Нариманов разоблачает хищничество и алчность колониалистов по отношению к марокканским арабам.

Публицистические произведения Н. Нариманова и Дж. Мамедкулизаде богаты афоризмами, крылатыми словами, уместными и выразительными цитатами из периодики, трудов историков, философов и т. д. Благодаря введению прямой речи авторы достигают впечатляющей художественной выразительности. Например: *Әдиби-биәвәз Мирзә Мелкум хан «Ганун» рузнамәсиндә башдан белә җазыр ки: «Мән сөзүмү о кәсләрә җазырам ки, адамдырлар».* Амма мән өзкә чүр дејирәм: «Мән сөзүмү о кәсләрә җазырам ки, гулаглары вар» (Ч. Мәммәдгулузаде) 'Несравненный писатель Мирза Мелкум-хан в газете «Ганун» в начале своей статьи пишет: «Я пишу для тех, кто является человеком». Но я говорю по-другому: «Я пишу для тех, у кого есть уши»'.

В публицистических произведениях Н. Нариманова чужая речь используется скорее в позитивном плане. Так, например, в статье «Современное состояние Ирана» Н. Нариманов подкрепляет свою мысль словами К. Маркса: *Тәкликдә инсан инсандан тәрбијә алан кими, милләт дә милләтдән тәрбијә алыр. Үмуми тәрәггеји-инсан, тәрәггеји-милләт бөјлә бир јол илә кедибдир.* Марксын «Милләт милләтдән, дәрс кәрәкдир алсын» сөзләри буну тәсдиг едир. (Н. Нариманов) 'Подобно тому, как каждый человек перенимает воспитание у другого человека, так и нация воспринимает опыт другой нации. Общий прогресс как индивидуума, так и нации в целом осуществляется именно таким путем. Слова Маркса о том, что один народ должен учиться у другого, подтверждаются это!'

Своим публицистическим статьям Н. Нариманов нередко предпосылает отрывки из произведений народно-поэтического творчества. Эти фольклорные сюжеты делают более доходчивой и действенной основную идею статьи или фельетона. Например, провозглашая идею единения народа, он свою статью «Один в поле не воин» начинает следующей притчей: «Некий старик, чувствуя приближение смерти, созвал своих сыновей и, дав им связку прутьев, сказал: „Посмотрим, кто из вас сумеет сломать эти прутья в связке“. Когда же никто из юношей не смог этого сделать, старик развязал связку и сказал: „Попробуйте-ка теперь!“ Сыновья легко переломили прутья по одному, старик засмеялся и сказал: „Дорогие мои! Если и вы будете держаться вместе, то есть будете объединены, то никто не сможет вас одолеть“»...

Публицистический стиль Дж. Мамедкулизаде также отличается доходчивостью и народностью. Весь строй его публицистики пронизан синтаксисом народно-разговорного языка. Диалогическая речь, эллиптические конструкции, непринужденный и неканонизированный порядок слов живого разговорного языка придают ей неповторимое своеобразие и эмоциональность. Каждый фельетон отличается новизной языковых средств, что усиливает воздействие на читателя, причем без нажима, ненавязчиво, совершенно естественно и непринужденно. Вот, например, один из характерных отрывков из фельетона «Четыреста девушек»: *Парисдә чыхан гәзетләр Әбдүл Һәмидин һәрәмханасыны әлдә бәһанә еләјиб башлајыблар налајиг сөзләр илә биз мүсәлманларын абырына*

тохунмаға. Абыр вармы, ја јохму — бу бир өзкә мәсәләдир; амма сөз бурасындадыр ки, ајаңа сәбәбә онлар өз көзләриндә ғылы көрмәјиб бизим көзүмүздә тири көрүрләр? (Ч. Мәммәдгулузадә). 'Парижские газеты под предлогом нападок на гарем Абдул Гамида в непристойных выражениях оскорбляют достоинство мусульман. Есть ли это достоинство или нет его — это другой вопрос. Однако позвоительно спросить, на каком основании они не видят в собственному глазу волосинки, а замечают в нашем бревно'.

В этом отрывке публицист, используя народно-разговорные выражения типа *әлдә бәһанә етмәк*, *абрына тохунмаг*, *сөз бурасындадыр*, а также народную поговорку «В чужом глазу соломинку ты видишь, в своем — не видишь и бревна» в противоположном смысле: «В собственном глазу не видят волосинки, а в нашем замечают и бревно», создает ироническую ситуацию.

Дж. Мамедкулизаде в своих полемических выступлениях в печати тонко иронизирует, используя заключенные в скобки различные синтаксические конструкции. Например: ... *Гәрәз дәрдисәр олмасын, јетмиш ики милләтин дилиндә јазылмыш мәктуб идарәмиздә тапмаг олар (әлбәттә, елмин чох олмағы шәртдир)* (Ч. Мәммәдгулузадә). '... Одним словом, в нашем учреждении можно найти письма, написанные на языке семидесяти двух наций (конечно, при условии богатой научной эрудиции)'.

Нередко скобки следуют даже после заголовков, усиливая сатирическое звучание заглавия. Например, к заголовку «Конфиденциальное письмо Ирана батумскому консулу» в скобках приписывается: «Просим посторонних для нас читателей воздержаться от чтения этого секретного письма».

Лаконичность заключенных в скобки предложений и фраз, нередко состоящих из двух-трех слов, делает их более действенными, функционально насыщенными, акцентируя внимание читателя на главном, основном. Эти присоединительные конструкции вводятся при помощи модальных или пояснительных слов типа: *әлбәттә* 'конечно, разумеется', *јә'ни* 'то есть'. Например: *Сонра кечәк газетин мәзмунуна. Башдан бир нечә е'ландыр (әлбәттә, пул олан јердә е'лан да баша кечәр; һәлә бәлкә илан да баша кечәр)* (Ч. Мәммәдгулузадә) 'Далее перейдем к содержанию газеты. Однако сначала — несколько объявлений (конечно, там, где деньги, пропускают вперед не только объявления, но даже и змею)'.

Тәбриздә сатылыр учуз гијмәтә хәфијјәләр (јә'ни һөкүмәт шпионлары). 'В Тебризе за небольшую цену продаются сыщики (то есть государственные шпионы)'.

Дж. Мамедкулизаде в ряде случаев, излагая ту или иную главную мысль, как бы попутно прибегает к вставным конструкциям, высказывая и другую, причем нередко в отрицательной форме. Последние высказывания обычно заключаются в скобки и строятся на основе единого синтаксического принципа. Например: *Инди, мәсәлән, тутак ки, худанә-кәрдә, бирдән ушағларыңыз гојасыңыз дәрс охујалар («Чамеји-Аббас» китабыны демирәм һа)* (Ч. Мәммәдгулузадә) 'Теперь, к примеру, допустим, не дай бог, вы вдруг решите обучать своих детей (я, конечно, не имею в виду книгу «Джамейи-Аббас»)...' *Әннәбиләрин көзүнүн габағында Бакыда гарабағлы-бакылы даваһы дүшүр. Бу да бизим иттифаг вә иттиһадымыз («Иттифаг» вә «Иттиһад» мәктәбләрини демирәм һа)* (Ч. Мәммәдгулузадә) 'На глазах у иностранцев в Баку разворачивается карабахско-бакинская вражда. Вот вам наши союз и единение [только не подумайте, что я имею в виду школы «Иттифаг» («Союз») и «Иттиһад» («Единение»)]'.

Для публицистических произведений Н. Нариманова и Дж. Мамедкулизаде характерно также употребление и самых различных форм обращения. Например, в один только фельетон «Письмо из гроба» Дж. Мамедкулизаде вводит десятки обращений: «эй, Гаджиага»; «гей, мой друг»; «ай, молла Джалил ага»; «эй, моллы»; «эй, бакинцы» и др.

Нередко эти обращения вызывают юмористический эффект. Так, в фельетоне «Тайный ответ Моллы Насреддина» Дж. Мамедкулизаде то и дело с иронией и сарказмом обращается к некоему «Демдемеки». На самом же деле, хотя автор и объявляет свой ответ вымышленному Демдемеки секретным, фактически он оповещает всех читателей о том, что в Баку в читальнях ухают совы, что никто не интересуется благотворительным обществом и т. д., и т. п.

В фельетоне «Почему вы меня бьете?» Дж. Мамедкулизаде, обращаясь к моллам, вопрошает: *А моллалар, нијә мәни дөјүрсунуз? Олмаја мәндән горхурсунуз? Олмаја горхурсунуз ки, әјлиб чамаатын гулағына бир сөз пычылдајам...* 'Эй, моллы, почему вы меня бьете? Может быть, бонтесь, что я, наклонившись к уху публики, шепну несколько слов?...'.

Обращения, используемые Н. Наримановым, в его политической публицистике носят несколько иной характер. Писатель обычно обращается либо к рабочим и крестьянам, либо же к помещикам, бюрократам, царским министрам, контрреволюционерам, мусаватистам. Например: *Еј вәтәнини, милләтини севән иранијан* 'Эй, иранцы, любящие свою родину, свой народ!...' *Еј... ата-бабасынын јүрдуну севән мүсәлман чамааты!* 'Эй, мусульмане, любящие край своих предков!...' *Сиз, мүлкәдар вә сәрмајәдарлар, һансы милләтдән олурсунуз олунуз, һөрүмчәксиниз* 'Вы, помещики и капиталисты, к какой бы нации ни принадлежали, все равно являетесь пауками'.

Стилю азербайджанских революционных демократов было присуще ироническое употребление хвалебных эпитетов по отношению к отрицательным персонажам, что всегда правильно улавливалось и воспринималось читателем. Благодаря подобному приему писателям удавалось также успешно преодолевать цензурные рогатки. В фельетоне «Абдуррагим эфенди» его герой превозносит императора до небес следующим образом: *Уча олан вә јенә учадан да, учадан да, учадан да уча олан императори-ә'зәм* 'Высочайший, являющийся выше высокого и выше самого высокого, император'.

В своих статьях Н. Нариманов для достижения желаемого сатирического эффекта нередко использовал и такой оригинальный прием. Характеризуя царских министров и чиновников, он им приписывал такие благородные действия и поступки, которых, как заведомо было известно читателю, они никогда не совершали и совершить не могли. Например: *Чәнаб Монахин әдлијә назири оларкән социалистләрә чох зүлм етмәјиб инсафла рәфтар едирди. Чәнаб Котлер кәндлиләрин хејрхаһы олуб онлара даир мәсәләләри диггәтлә һәлл етмишиди* (Н. Нариманов) 'Господин Монахин, будучи министром юстиции, не расправлялся с социалистами, справедливо обращаясь с ними. Господин Котлер был доброжелателем крестьян и с большим вниманием решал относящиеся к ним вопросы'.

Н. Нариманов и Дж. Мамедкулизаде широко использовали в своей публицистике поэтические цитаты либо как концовку фельетонов (чаще — у Дж. Мамедкулизаде), либо в середине их текста.

Нередко поэтические отрывки приводились в качестве эпиграфа.

Например:

Кет доланкилэн, хамсэн һэнүз.
Консул олмага чох һүнэр кэрэк
(Ч. Мәммәдгулузадә).

‘Поди, поброди, не созрел ты пока еще.
Чтоб консулом стать, много отваги необходимо’.

Эпиграфом к одному из фельетонов Н. Нариманова, в котором он ратовал за объединение сил в борьбе против классового врага, послужили строки из басни И. А. Крылова «Лебедь, щука и рак»:

Јолдашлыгда кәр олмуја иттифаг
Әмрләр јеримәз, олунар нифаг...

‘Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет’.

Значительной части публицистических статей Н. Нариманова и Дж. Мамедкулизаде присущи своеобразный лиризм, задушевность, образность, художественная выразительность⁶. Это прежде всего достигалось соответствующим отбором и употреблением слов и выражений. Например: *Һәгигәт, бир фикир вериниз... «шыг-шыг» јубкалара, көзәл кәр-дәнә, шумшад әлләрә, назик белләрә, тәрлан бојлара, көзәл сифәтлә-рә* (Н. Нариманов) ‘Действительно, обратите внимание... на шестаящие юбки, красивые осанки, нежные руки, тонкие талии, стройные станы, очаровательные лица’. *Бунунла белә аләми-ислама нәзәр единиз: вус’әт-ли бир мәзарыстан, чамаат вәһиши, дүшмән гәви, маариф јох, үмәра би-намус, тичарәт позгун, зираәт пәжмүрдә* (Ч. Мәммәдгулузадә) ‘Вместе с тем посмотрите на исламский мир: величественное кладбище, одичавший народ, озверевший враг, просвещения нет, правители бесчестны, торговля расстроена, земледелие развалено...’

В фельетонах Дж. Мамедкулизаде можно отметить множество только ему присущих литературных приемов. В их числе — редко используемая в публицистике апелляция к публике, читателю. В фельетоне «Какая наука нужна?» диалог Моллы Насреддина и Лаглагы автор строит на широком привлечении цитат из исторических сочинений и материалов газеты «Хаят». Фельетон Дж. Мамедкулизаде «Мухамедали-шах и идо-лопоклонники» написан в форме диалога журналиста с тебризцами и тегеранцами.

Публицистика Н. Нариманова также отличается индивидуальными особенностями. Своей оригинальностью заслуживают быть отмеченными зачины и концовки статей, свидетельствующие о замечательном мастерстве авторов. Например: *Гара булуд јенә дә көјүн үзүнә кәлир. Көј журулдајыр. Лакин нә вахт илдырым чахачаг һәлә мә’лум дејил* (Н. Нариманов) ‘Вновь на небе надвигаются тучи. Гром уже грохочет. Однако пока неизвестно, когда ударит молния’. *Аға фәһләләр, јенә дилиниси узадыбсыныз; «Тәзә һәјат»ын 91-чи нөмрәсиндә шикајәт едирсиниз ки, заводун мүдири күндә сизә, әлли ики нәфәрә бир бочка су верир. Јазыр-сыныз ки, судан өтрү гапы-гапы диләнирсиниз вә бундан да савајы чох артыг-әскик сөзләр јазырсыныз...* (Ч. Мәммәдгулузадә) ‘Господа рабочие, снова вы распустили свой язык; в 91-м номере (газеты) «Таза хаят» вы жалуетесь на то, что директор завода каждый день выдает вам, 52 человекам (всего одну) бочку воды. Пишете, что выпраши-

⁶ На родственность общественно-функциональной природы лирической поэзии и публицистики как политической лирики в прозе указывает также А. А. Смородин. См.: А. А. Смородин. Лирика и публицистика. — В кн.: «Проблемы журналистики». Вып. I. Ленинград, 1973, стр. 66—67.

ваете воду, и, кроме того, позволяете себе писать очень много лишнего...» *Дарвин өз китабында жазыр: «Һејванлар бир-бирилә гоһумдурлар».* (Ч. Мәммәдгулузадә) 'Дарвин пишет в своей книге: «Все животные находятся в родственных отношениях между собой»'.

Заключительные фразы публицистических статей Н. Нариманова и Дж. Мамедкулизаде как бы подводят итог и обобщают их главную идею, еще раз привлекая к ней внимание читателя. Так, статью «Государственные дела» Н. Нариманов заканчивает следующим обращением к царским министрам: *Афәрин! Мүсәлманлары јахшы таныјыбсыныз! Нәинки гәзетләр илә, нәсирәт илә, чығырмаг илә, һәтта топпуз илә дә бу јатмыш милләти ојатмаг олмаз... Сиз өз ишиниздә олунуз!* (Н. Нариманов) 'Браво! Вы хорошо изучили мусульман!.. Не только газетами, наставлениями и призывами, но даже дубинками не пробудить от спячки эту нацию... Вы продолжайте свое дело!..'

Приведем другую концовку: *Биз сизи раһат гојдуг...Әчәба ! Виңданыныз сизи раһат гојачағмы?* 'Мы оставили вас в покое... Увы, оставит ли вас в покое ваша совесть?..' *Күнүн ишығыны булуд сөндүрә биләрсә, сиз дә һаггы мәһв едәрсиниз!* (Н. Нариманов) 'Если туча сможет погасить светлое солнце, то и вы уничтожите правду'.

Своеобразна сатирическая концовка фельетона Дж. Мамедкулизаде «Күфлә гурду», в которой используются стилистические неологизмы: *...Рәвабырмы ки, матәм күнләри һәр бир мүтрүб бабасы, фаһишәхана лотусу, Килан гарачысы, «Әбдилаға» зәлиси, Әрдәбил пишији, Аллаһверди күфлә гурду адыны рөвзәхан гојуб чыхсын минбәрин үстүнә вә би-чарә мүсәлманлары аллаһын евиндән ијрәндирсин?! Нә вахт бунун ахыры олачаг?..* (Ч. Мәммәдгулузадә) 'Позволительно ли, чтобы в дни траура всякие там скomorохи, завсегдатаи публичных домов, гилианские цыгане, пиявки «Абдилаги», ардабильские коты, черви Аллахверди, назвавшись ровзакханами, поднимались на минбар и вызывали у бедных мусульман отвращение к божьему храму?! Когда же настанет конец всему этому?'

Весьма интересна также концовка фельетона «Мечеть», построенная на сопоставлении: *Африкада страус гушлары башларыны гумун ичинә соханда елә билирләр ки, онлары көрән јохдур вә јолдан кечәнләр јавашча кедиб тутурлар. Биз дә башымызы мәсчидләримизә страус гушлары кими сохуруг. Онун үчүн дә бизи тутмаг чох асандыр. Инанмырсан бах тарихә вә бах индики вүғуата* (Ч. Мәммәдгулузадә) 'В Африке страусы, засунув свои головы в песок, полагают, что никто их не видит, и прохожие осторожно подходят и ловят их. Мы тоже, подобно страусам, суем свои головы в мечети. И поэтому нас очень легко поймать. Не веришь — загляни в историю и посмотри, что теперь творится'.

Как мы видим, статьи Н. Нариманова и Дж. Мамедкулизаде, с беспримерным мужеством и последовательностью служивших высоким народным идеалам, отличаются оригинальными функционально-образительными и экспрессивно-выразительными стилистическими особенностями, высоким уровнем писательского мастерства и составляют лучшие страницы азербайджанской революционно-демократической публицистики.

Л. Р. КЫЗЛАСОВ, И. Л. КЫЗЛАСОВ

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОГРАНИЧНАЯ НАДПИСЬ С НИЗОВЬЕВ УЙБАТА (ХАҚАСИЯ)

Летом 1974 г. сотрудники Хакасской археологической экспедиции Московского университета обнаружили на одной из курганных плит руническую надпись¹. Курган расположен на территории обширной долины на правом берегу р. Уйбата, текущей здесь от Сахарского хребта. Возле него через невысокий перевал проходит дорога, ведущая от сорокового километра тракта Абакан — Аскиз в пос. Ильича (Алебастровый рудник). Курган расположен в 4,5 км на восток от рудничного поселка и в 3,7 км от тракта. По своей конструкции курган является «многокаменным» и относится ко II стадии тагарской культуры (IV—III вв. до н. э.); он имеет земляную насыпь до 5 м высотой и квадратную ограду размером 38×36 м из плит. Некоторые плиты ограды отбиты и поломаны. На двух уцелевших плитах северной стороны сохранились фигуры трех стоящих оленей с волютами на туловищах. На камне южной стороны выбита раннесредневековая тамга.

В центре западной стороны ограды сохранилась высокая (3,15 м) плита, обращенная узкими гранями на восток — северо-восток и запад — юго-запад (рис. 1). Наибольшая ширина плиты 1,46 м; ширина

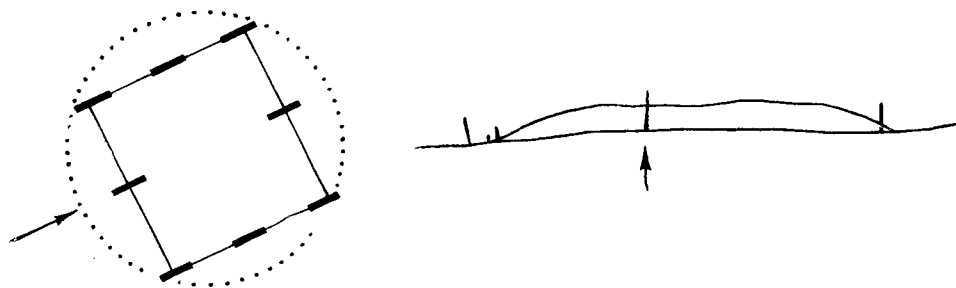
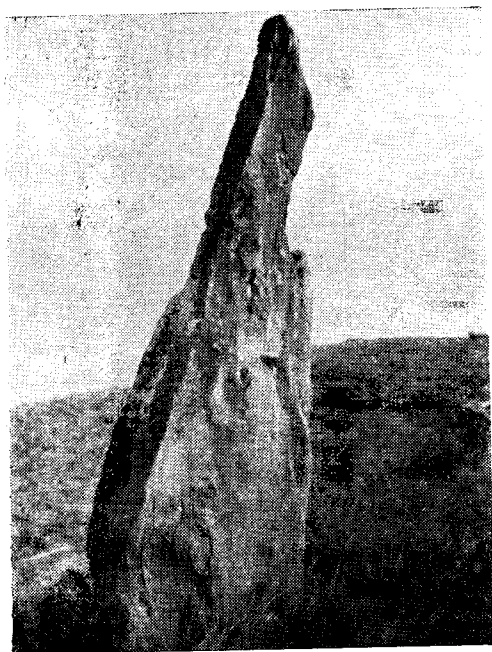


Рис. 1. Схема расположения плиты с надписью на тагарском кургане

по низу 1,28 м; толщина граней 0,22 и 0,27 м. Надпись выбита снизу вверх на гладкой запад—юго-западной грани (общая длина грани

¹ Л. Р. Кызласов, И. Л. Кызласов. Архитектурные сооружения и курганы средневековых хакасов. — В сб.: «Археологические открытия 1974 года». М., 1975.



Общий вид



Начало надписи
Рис. 2

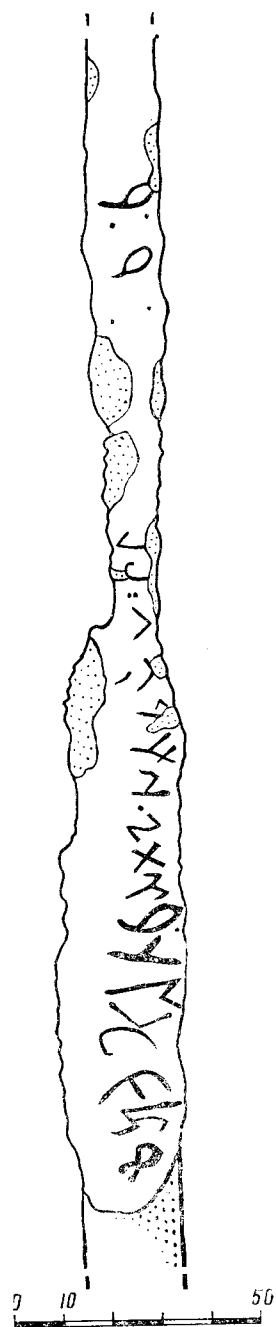


Рис. 3. Текст надписи

3,32 м). Она занимает по длине 2 м и состоит из 21 крупного знака высотой от 8 до 16 см. Часть мелковыбитых знаков в начале надписи от времени стерлась, а другая часть (конец надписи) местами повреждена позднейшими сколами (рис. 2).

Нами снят эстампаж, сделана прорисовка и произведено фотографирование плиты и надписи (рис. 3). Для выяснения начертаний букв памятник многократно осматривался при различном освещении. Дополнительные трудности создавали древние рисунки или тамги, выбитые на плите задолго до нанесения надписи.

Несмотря на то, что два последних знака надписи удалены от остальных на 40 см, она, по нашему мнению, не прервана. Очевидно, выбивавшие надпись, встретив поврежденный участок грани, пропустили его, иначе на сохранившейся по всей длине трети неповрежденной плоскости остались бы какие-то следы от крупных знаков, однако такие следы отсутствуют.

Изучение полученного эстампажа и сравнение надписи с опубликованными памятниками енисейской письменности показало, что нами обнаружен памятник уже известный в науке под названием «Пятый памятник с Уйбата» (Е 34). В течение 86 лет о его местоположении и судьбе сведений не имелось.

Впервые этот памятник был открыт еще в 1847 г. финским исследователем М. А. Кастреном². Затем в 1888 г. по просьбе Н. М. Мартыанова он был отыскан студентом Булановым и местным жителем Никифором Доможаковым на кургане, который назывался по-хакасски *Хара кӱрген*. Финский археолог, профессор Гельсингфорского университета И. Р. Аспелин 2 октября 1888 г. снял с вновь найденной стелы эстампаж, в дальнейшем надпись была прочтена и опубликована³.

Изучение этой надписи нами в июле 1974 г. позволило уточнить некоторые знаки, неточно переданные в первоначальной ее публикации (рис. 3). В связи с этим появилась возможность предложить иной вариант чтения текста. Слова этой надписи нами выделены следующим образом:

21	20	19	18	17	16	15	14	13	12						
Q	:	Q	:	J	δ	:	^	^	:	Υ	:	Υ	h	:	J
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
x	Υ	Q	:	†	Γ	:	>	δ	:	£	h	†	χ		

Текст короткий, и это позволяет предположить одну фразу, содержащую законченную мысль.

Предлагаем следующий предварительный вариант чтения:

bit'ig bu öñ jerdä qaš äg (q^aš'iy?) taš b'ol (mīš) ?j (b?) ?j?

² М. А. Castren. Nordische Reisen und Forschungen. SPb., 1856, стр. 363; J. R. Aspelin. M. A. Castrens: Aufzeichnungen über die Alterthümer im Kreise Minussinsk. Zeitschrift der Finnischen Alterthumsgesellschaft, XXI. Helsinki, 1901.

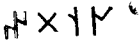
³ H. Appelgren-Kivalo. Alt-Altäische Kunstdenkmäler. Helsingfors, 1931, стр. 40; «Inscriptions de l'Enisseï recueillies et publiées par la Société Finlandaise d'archéologie». Helsingfors, 1889, XXVII; W. Radloff. Die alttürkischen Inschriften der Mongolei. Dritte Lieferung. SPb., 1895, стр. 342; С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. М.—Л., 1952, стр. 65, (№ 34).

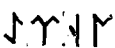
Первое слово надписи — bitig. Его написание в данном случае полностью соответствует написанию в Онгинском памятнике (МПДП, Об I, рис. 2). В то же время среди енисейских надписей оно встречено лишь однажды на каменном изваянии из д. Знаменки, где его начертание вы-

глядит несколько иначе —  и ясно читается как bičig

(МЭПТ, № 37, рис. 14; ср. с хакасским *ničik* 'письмо, письменность, грамота, книга, надпись'). Возможно, различия в написании этого слова на двух енисейских памятниках отражают диалектные или хронологические особенности.

Второе слово читается bu. Третье слово тоже написано полностью — öŋ. В енисейских надписях оно отсутствует, однако известно в виде

 в надписях Тоньюкука (МПДП, Тон. 29) и Моюн-чура

(МПК, МЧ. 6, 35) и означает «восток». Написание  встре-

чается в тексте Онгинского памятника (МПК, О2), на стелах Моюн-чура (МЧ. 6, 31) и Могиляна (МПК, Мог. 13) в значениях «перед», «вперед», «восток».

Четвертое слово читается jerdä. Так же оно было прочитано В. В. Радловым и С. Е. Маловым. Сочетание öŋ jerdä в значении «восточная сторона» встречается в написанной руническим письмом «Гадательной книге» из Дуньхуана (МПДП, Ths. 25).

Знаки 16 и 17 можно с большей или меньшей уверенностью читать как taš. Так же его прочитали В. В. Радлов и С. Е. Малов. Вполне вероятно, что знаки 13—15 являются определением к этому слову. Предполагаемое их чтение qaš äg или (если видеть в последнем знаке

 вместо , то в иной группировке букв: ) qašyū.

Слово qaš в значении 'берег, бровка, край, граница' (ДТС, стр. 431) до сих пор не встречалось в памятниках рунической письменности. А определение qašyū (отсутствует в рунических памятниках) 'представительный, величавый, величественный, мужественный' (ДТС, стр. 431) обычно характеризует человека, и поэтому его употребление в данном случае сом-

нительно. В. В. Радлов и С. Е. Малов видели здесь  и читали это

слово [допуская пропуск > (u)] как имя собственное — Qašyū. Такое чтение вполне возможно, хотя в сочетании «камень Кашука» категория принадлежности и не выражена морфологически. К тому же этот вариант мало что дает для понимания памятника. В кратких надписях, как известно, к прочтению собственных имен следует подходить с большой

осторожностью. Так, например, написание  можно было бы

с бóльшим, с орфографической точки зрения, основанием прочесть как Qašqa (Qasqa), то есть как упоминание о Хасха — одном из основных родов качинцев.

Наибольшие трудности возникли при чтении знаков 18—21. Здесь необходимо учитывать ряд важных особенностей оригинала, оставшихся незамеченными в предшествующих публикациях памятника. Во-первых,

написание , по-видимому, представляет собой не часть слова, как

предполагали В. В. Радлов и С. Е. Малов, читая (115), а пол-

ное слово. Как уже указывалось, поверхность камня здесь сбита лишь частично и плоскость плиты была повреждена до нанесения на нее надписи. В этом убеждает и расположение знаков 20 и 21. От щербинки их отделяет просвет, на котором, при условии сплошного написания строки, сохранились бы следы букв. Ясно, что человек, делавший надпись, уже тогда пропустил поврежденный участок, закончив фразу несколько выше сколов. К тому же буква 20 отделена от значительного просвета гладкой поверхности словоразделительным знаком :. В такой ситуации словоразделительный знак по своему назначению приближается к современному знаку переноса. Он соединяет воедино фразу.

Таким образом, при чтении знаков 18 и 19 нет оснований думать, что окончание слова до нас не дошло. Уже поэтому не следует читать *бал(бал)*. Кроме того, термин *балбал* не может здесь употребляться в значении, указанном В. В. Радловым и С. Е. Маловым, ибо он не имеет никакого отношения к стелам такого рода⁴.

Необходимо отметить, что написание завершающего фразу слова

 в рунической письменности встречается не только в рассматри-

ваемом уйбатском памятнике. Аналогичный случай мы находим в известной надписи на скале у с. Тесь («Второй памятник с Тубы»), где теми же знаками заканчивается последняя строка (МЭПТ, № 36) и где чтение *балбал* также неприемлемо.

С нашей точки зрения, более вероятно прочтение указанного слова *bol-* (глагол). Причем приходится допустить пропуск знака >(o) и глагольного аффикса (скорее всего, -*туш*, -*түс*). Напомним, что в рунических текстах глагольные аффиксы (само собой разумеющиеся для писавшего) иногда опускались. Отсутствие аффикса -*туш*, -*түс* уже отмечалось в некоторых кратких рунических надписях и именно в глаголе *bol*⁵.

⁴ Л. Р. Кызласов. О значении термина «балбал» древнетюркских надписей. — «Тюркологический сборник». М., 1966. К расшифровке этого термина, вероятно, наиболее правильно подошел В. А. Казакевич, сопоставивший его с монгольским письменным *balba-la* 'разбить, раздробить, разломать' и халхасским *балбърхаё* 'разбитый, разваленный, порушенный' (В. А. Казакевич. Намогильные статуи в Дариганге. Л., 1930, стр. 23). Ср. *балба* 'вдребезги'; *балбалах* 'дробить, разбивать'; *балбах* 'стучать, бить' («Монгольско-русский словарь под общей редакцией А. Лувсандэндэва». М., 1957, стр. 59).

⁵ W. Radloff. Op. cit., стр. 243.

С. Е. Малов допускал возможность прочтения *bol* в некоторых случаях в значении «этот» (МПК, стр. 93). Такой вариант приемлем и здесь, но тогда *bol* должно относиться к *taš*, а *bu* — к *jerdä*. Иное чтение и толкование, по нашему мнению, вызовет еще более серьезные сомнения.

Рассмотрим два последних знака, завершающих надпись (за ними на плите следует пустая плоскость). С. Е. Малов эти наиболее трудные для прочтения буквы оставил нерасшифрованными, а В. В. Радлов прочел их как одно слово — *jaba*. В опубликованном последнем тексте представлено лишь 19 (вернее, в старой прорисовке 17) знаков. Читая

Q с гласными заднего ряда, В. В. Радлов, таким образом, допускал,

что этот знак употреблен здесь вместо D. Нет оснований читать 21-й знак как *b*, ибо в оригинале он Q (*j²*) очерчен даже яснее, чем пред-

шествующая буква. Скорее всего, здесь встречаются два слова, написанные сходными знаками. Это подтверждается и разделяющими точками, стоящими между обеими буквами. Следуя В. В. Радлову и стремясь придать всей фразе смысловую законченность и ясность, можно было бы предложить чтение: *aj aja* — «расскажи (разъясни) (всем и) береги (его)». Глагол *aj* — «говорить, рассказывать; разъяснять, толковать» (ДТС, стр. 25) встречается в памятнике Моюн-чура (МЧ. 14, 27) и в надписи Тоньюкука (Тон. 31, 32). Другой глагол *aja* в значении «беречь, содержать в порядке» (ДТС, стр. 25) в рунических памятниках не встречался. Подобное прочтение требует «исправления» ряда «неточностей» текста, и поэтому мы от него воздерживаемся. С другой стороны, эти два знака могут обозначать и имя собственное.

В целом наиболее вероятным представляется следующий вариант перевода текста:

«Надпись: это — на восточной стороне (стоящий) пограничный геройский камень».

Появление подобной надписи становится вполне понятным, если учитывать некоторые особенности исторической обстановки, сложившейся в период ее создания. Изучение памятников енисейской письменности показало, что территория древнехакасского государства была разделена в IX—XII вв. на ряд багов — феодальных уделов⁶. По нашему мнению, рассматриваемая надпись подтверждает этот вывод: камень (или, вернее, курган, на котором он стоит) представлял собой пограничную вежу на восточной оконечности владений какого-то «героя», то есть древнехакасского феодала. Термин *äg* во всех текстах указывает на принадлежность человека к сословию военно-феодальной знати (ср. «витязь», «рыцарь»). Отсюда понятно упоминание в текстах енисейских памятников «геройских» имен, владений, границ и т. д.

Границами багов или более мелких владений служили, вероятно, естественные рубежи — реки, горы, гряды холмов и т. д. Курган с обнаруженной надписью отстоит от правого берега Уйбата на 3—4 км и

⁶ Л. Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской письменности. — «Советская археология», 1960, № 3; *его же*. Новый памятник енисейской письменности. — «Советская этнография», 1965, № 2; *его же*. О датировке памятников енисейской письменности. — «Советская археология», 1965, № 3.

находится на небольшом перевале, под грядой холмов, расположенной в меридиональном направлении. Возможно, что эта гряда и была восточной границей удела. К западу от кургана на 7—8 км простирается долина реки до самого подножия горного хребта Сахсар, также имеющего меридиональное направление. Сахсар мог быть западной границей удела.

С севера, в 5—6 км от кургана, тянется в широтном направлении горный отрог⁷, образующий на западе вместе с хребтом Сахсар ущелье, по которому протекает р. Уйбат. С юга от кургана, также в широтном направлении, тянется гряда сопков, отделяющих долину р. Абакана от долины р. Уйбата. В результате образуется, естественно, огороженный участок земли, составляющий территорию площадью около 64 кв. км (8×8 км). Возможно, что этот участок являлся собственностью того средневекового землевладельца, который поставил описанный выше пограничный знак. Добавим, что именно в этом районе на самой высокой вершине Сахсара находится средневековая крепость-убежище (*све*) с каменными стенами, известная среди местных хакасов под названием *Тас хазаа* (Каменная ограда), также обследованная нами.

Вероятно, это один из тех сравнительно небольших наделов, которые составляли баг. В таком случае его владелец был одним из отпрысков крупного феодала, хозяина всего бага⁸.

Необходимо особо подчеркнуть, что исследуемая надпись не является эпитафией подобно большинству сохранившихся памятников енисейской письменности, и в этом качестве она не единственная. Таким же пограничным камнем, очевидно, была стела с надписью, обнаруженная возле позднеатагарского переходного кургана у с. Тесь финской экспедицией под руководством И. Р. Аспелина в 1889 г.⁹ На плите сохранилось имя Кюнч Тутук — очевидно, владельца другого надела, на правом берегу реки Тубы.

«Межевым столбом» мог быть и камень с Оттук-Таша, на котором написаны лишь титул и имя — *ичряки Кюч Кыяган* (МЭПТ, № 4, 35).

Общеизвестно, что на многих менгирах, курганных камнях и на скалах в Хакаско-Минусинской котловине и в Туве встречаются тамги средневековых хакасов. Они обнаруживались археологами еще в конце XIX в. и продолжают обнаруживаться до сих пор¹⁰.

Дело в том, что в период средневековья владельцы отмечали границы своих земель не надписями¹¹, а, по-видимому, собственными тамгами, высекая их на приметных по величине камнях. Зафиксировав достаточное количество таких тамг и нанеся их месторасположение на карту, мы сможем судить хотя бы приблизительно о границах багов, малых уделов

⁷ На нем имеются алебастровые и гипсовые месторождения.

⁸ О багах и их размерах см.: *Л. Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской письменности* (карты).

⁹ *A. M. Tallgren. Trouvailles Tombales sibériennes en 1889.* — «Suomen Muinais Muistoyhdistyksen Aikakauskirja», XXIX. Helsinki, 1922.

¹⁰ *Л. Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской письменности; его же: О датировке памятников енисейской письменности.* — «Советская археология», 1965, № 3, рис. 7—8.

¹¹ Ср. текст на Абаканском памятнике (находившемся в 6—8 км от Хара кургана на левом берегу р. Абакан близ улуса Тутатчиковых): «Я не наслаждался (на земле) счастьем и (своими) полями (и) умер» (МЭПТ, № 48, 6). *Аңыз* — не только «поле», но и «пашня».

и других земельных участков, находившихся во владении феодальных семейств того времени. Это поможет установить некоторые факты, относящиеся к землепользованию и распределению земель в средневековой Хакасии.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- ДТС* — Древнетюркский словарь. Л., 1969.
МЕПТ — С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. М.—Л., 1952.
МПДП — С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. М.—Л., 1951.
МПК — С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.—Л., 1959.
СПб. — Санкт-Петербург.
-

С. Г. КЛЯШТОРНЫЙ

РУНИЧЕСКАЯ ЭПИГРАФИКА ЮЖНОЙ СИБИРИ (НАСКАЛЬНЫЕ НАДПИСИ ТЕПСЕЯ И ТУРАНА)

Я видел древних письмена
На диких скалах Енисея.
Таинственная старина,
Потомков поздних не жалея,
Проводит хитрые черты
Для их гадательной мечты.

А. Кузмин. «Енисейский
альманах», 1828.

Летом 1904 и повторно в 1907 гг. известный сибирский археолог А. В. Адрианов совершил поездки по Енисею и его притокам, в пределах Минусинской котловины, со специальной целью изучения писаниц на прибрежных скалах. В дальнейшем он описал целые галереи рисунков, созданных и в глубокой древности, и в средние века, зарегистрировал и частично зарисовал незафиксированные или вообще до того неизвестные мелкие рунические надписи. Полные отчеты А. В. Адрианова остались неизданными, но сохранились в машинописных копиях¹.

Одна из групп, обследованных А. В. Адриановым рунических надписей, о которой впервые упомянул еще в начале прошлого века Г. И. Спасский², разбросана по скальным выходам горы Тепсей у впадения р. Тубы в Енисей, среди многочисленных наскальных изображений скифского и тюркского периодов. Вот что опубликовал А. В. Адрианов о своей находке: «По правому берегу Тубы, на утесах горы Тепсей тянется писаница на протяжении нескольких верст, с перерывами; часть ее описана по материалам Титова Спасским и называется им Тепсейской, но только незначительная часть. Она состоит из 251 выбитой фигуры, 186 выбитых и вырезанных знаков и 353 руноподобных букв... Руноподобных надписей найдено 13 строк в разных местах. Буквы сделаны чрезвычайно тонким поверхностным штрихом, еле заметны»³. Тогда же А. В. Ад-

¹ А. В. Адрианов. Отчет за 1904 г. Писаница. — Архив Музея истории материальной культуры Томского государственного университета, № 75; его же. Описание. — Архив Ленинградского отделения Института археологии АН СССР, ф. 2, оп. 2, № 12. О работах А. В. Адрианова см.: Э. Б. Вадецкая. К истории археологического изучения Минусинских котловин. — «Известия лаборатории археологических исследований Кемеровского государственного педагогического института», вып. VI. Кемерово, 1973, стр. 93—159.

² Г. И. Спасский. Записки о древностях Сибири. — «Сибирский вестник». СПб., ч. I, 1818, стр. 12.

³ А. Адрианов. Предварительные сведения о собирании писаниц в Минусинском крае летом 1904 г. — «Известия Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии». СПб., 1904, № 4, стр. 28.

рианов, спустившись ниже по течению Енисея, «занялся писаницей на горе Туран, именно на береговых ее утесах, на Енисее. Писаницы тянутся здесь на протяжении нескольких десятков саженей и состоят из 182 фигур, 29 знаков, 37 руноподобных букв, разбитых на две группы, по две строки в каждой»⁴.

Тогда же, в 1904 г., А. В. Адрианов обнаружил близ г. Тепсей расколотую надвое плиту с рунической надписью. Эту плиту и одну из надписей Тепсея, выломанную им из скалы, А. В. Адрианов отправил в Красноярский музей; дальнейшая судьба обоих памятников неизвестна⁵. В 1907 г. А. В. Адрианов опубликовал следующее сообщение о продолжении им изучения горы Тепсей: «На почти неприступной высоте, на крутом склоне горы Тепсей, с полверсты ниже устья р. Тубы, почти под самой вершиной Тепсея, на высоте не менее ста саженей над Енисеем, находится довольно большая пещера — ниша неправильной формы. На одной из стен ее высечена, вернее, начертана, надпись в 4 строки, содержащая 166 руноподобных знаков. Три строки горизонтальных начерчены параллельно, буквами одинакового роста, а четвертая строка слева, отдельно, буквами вдвое крупнее. Верхняя строка состоит из 62 букв, средняя — из 49, нижняя — из 47, а в четвертой, отдельно стоящей строке, 8 знаков. Буквы сделаны не особенно глубокими штрихами, это, так сказать, скоропись»⁶.

В ходе исследований А. В. Адрианов делал эстампажи некоторых надписей и их зарисовки. К сожалению, обнаружить их не удалось. В дневниках А. В. Адрианова зарисовано десять надписей (13 строк) с горы Тепсей и две надписи с горы Туран. Мы не вполне разделяем точку зрения Л. Р. Кызласова, высказанную по аналогичному поводу: «Рисунки и чертежи А. В. Адрианова настолько некачественны, что не могут считаться документальной фиксацией памятников»⁷. Однако сами надписи Тепсея настолько трудны для наблюдения и копирования, что рисунки А. В. Адрианова действительно не пригодны для разбора и чтения текстов. Впрочем, один из рисунков надписей с горы Туран поддается разбору и использован ниже.

В 1966—1968 гг. писаницы г. Тепсей стали объектом изучения Красноярской археологической экспедиции Института археологии Академии наук СССР. Обследование этого комплекса предпринял Я. А. Шер, а в один из сезонов (1967 г.) совместно с ним и автор этих строк, специально занимавшийся изучением руники Тепсея⁸. Самая крупная из открытых А. В. Адриановым надписей близ вершины Тепсея не была обнаружена, так как, вероятно, в результате камнепадов и обвалов она подверглась разрушению вместе с нишей, в которой находилась. Из десяти открытых

⁴ А. Адрианов. Предварительные сведения о собирании писаниц в Минусинском крае летом 1904 г., стр. 30.

⁵ В Красноярском музее в настоящее время хранятся два памятника с руническими надписями, причем один из них включен в экспозицию. Оба памятника были доставлены туда в начале нынешнего века. Однако отсутствие точной документации оставляет вопрос об их первоначальном местонахождении открытым.

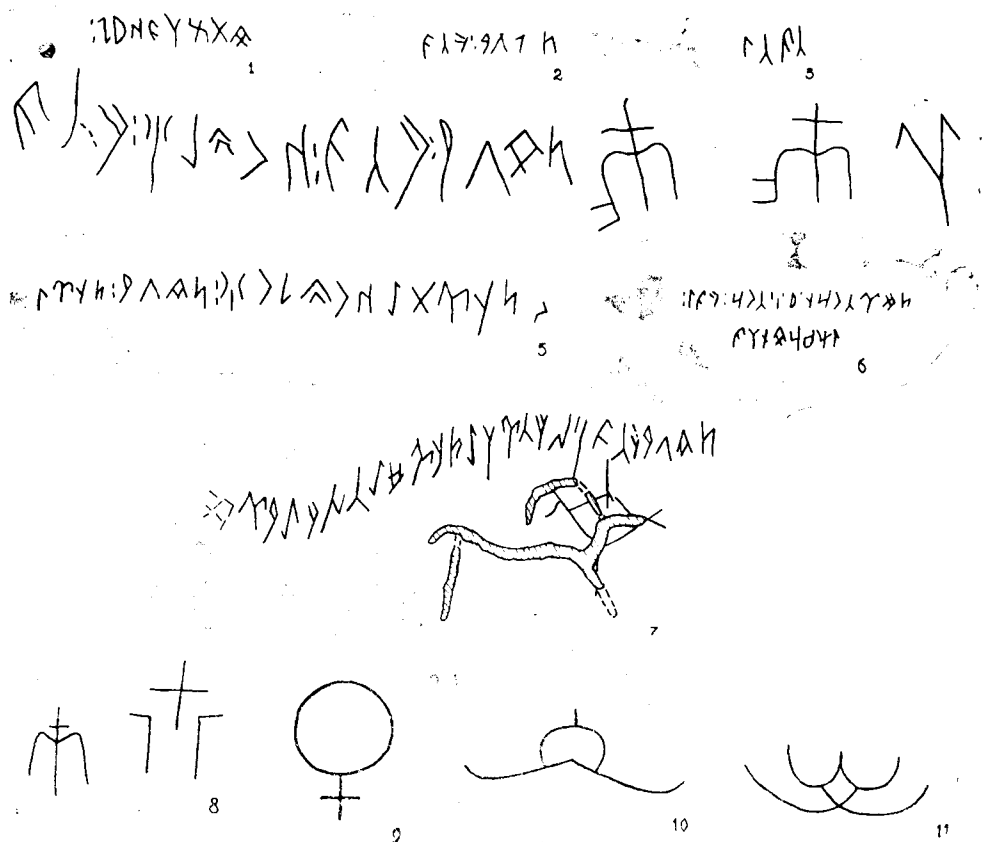
⁶ А. Адрианов. Обследование писаниц в Минусинском крае летом 1907 г. — «Известия Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии». СПб., 1908, № 8, стр. 43.

⁷ Л. Р. Кызласов. Краткая история археологического изучения Тувы. — «Вестник МГУ», сер. IX, 1965, № 3, стр. 56.

⁸ Я. А. Шер, Д. Г. Савинов, Н. Л. Подольский, С. Г. Кляшторный. Курганы и писаницы правобережья Енисея. — «Археологические открытия 1967 года». М., 1968, стр. 150—151.

А. В. Адриановым надписей на скальных поверхностях сохранились только семь (одну, как отмечалось выше, выломал сам А. В. Адрианов).

Все надписи процарапаны или вырезаны на шероховатой поверхности бурого песчаника, из которого состоит гора Тепсей. За немногими исключениями, знаки надписей, высотой в 2—5 мм, процарапаны настолько слабо, что заметны лишь при косо падающем освещении. Часть знаков ныне практически неразличима, сохранились лишь их слабые следы. Некоторые надписи испорчены эрозией скальных плоскостей или позднейшими рисунками. Слабая выраженность знаков сделала невозможной их полную фотофиксацию, поэтому приходилось прибегать к копированию знаков через полиэтиленовую пленку и кальку. На основе этих копий была составлена общая таблица текстов Тепсея и сопровождающих их тамг, а в одном случае дано и изображение козла, пересекающего тамгу, и часть штрихов надписи. Все надписи расположены на четырех соседствующих скальных гранях, на разной высоте над карнизом, идущим вдоль скалы, но на уровне среднего человеческого роста, высоко над руслом р. Тубы. Надписи пронумерованы от первой, расположенной выше других по течению р. Тубы, до седьмой, расположенной ниже всех.



Надпись № 1 (табл., рис. 1).

.be d i z l i g q a ja 'скала, покрытая рисунками, изображениями'.

Рядом с надписью расположена тамга, изображенная на рис. 9. Надпись явно отражает древнетюркское (древнекыргызское) название скалы, действительно покрытой значительным числом глубоко врезанных в ска-

лу изображений диких зверей (главным образом оленей, лосей, козлов), датируемых временем от III тыс. до н. э. до раннего средневековья⁹.

Надпись № 2 (рис. 2).

te pse j k'ic i g 'Тепсей Кичиг (Тепсей Младший)'.

Надпись представляет особый интерес прежде всего потому, что современное название скалы (Тепсей, Тебсей) отражает этот древнейший антропоним. В качестве антропонима это же имя встречается в русских документах XVII в.¹⁰ Эта и следующие надписи позволяют предположить, что гора Тепсей или «Узорчатая скала» являлась культовым местом (священной горой) нескольких древнекыргызских родов (об их количестве говорит разнообразие тамг), и сакральное значение ее было каким-то образом связано с культом героя-эпонима.

Надпись № 3 (рис. 3).

č i g č i (č i g š i) 'чигши'.

Титул *чигши* встречается и в других енисейских надписях. В древнетюркской титулатуре появляется в VII — начале VIII в.¹¹

Надпись № 4 (рис. 4).

er (тамга, повторенная дважды) te bšej k'čig qutluγ k ič ig 'муж (обладающий тамгой или: из рода с приводимой тамгой) Тебсей Кичиг; счастливый Кичиг'; вариант: 'мужи (из рода с этой тамгой) Тебсей Кичиг и Кутлуг Кичиг'.

Тамга в контексте надписи, вероятнее всего заменяющей здесь название рода¹², встречается иногда в той же функции и в других мелких надписях. Сама тамга обычна для древнекыргызской геральдики.

Надпись № 5 (рис. 5).

... te ηr i de qutluγ te bšej te ηri... 'счастливый на Небе Тебшей, Небо...'.

Надпись сохранилась лишь частично. Слова «счастливый на Небе» указывают на высокое происхождение характеризуемого лица, так как обычно входят в состав ханских (каганских) титулов. Наличие фонетического варианта имени (Тепсей ~ Тебшей) требует объяснений.

Надпись № 6 (рис. 7).

... te bšej k'čig siz (?) eš i eč i erile te ηrim a! öčük a! jerim a ! ... '... О, Тебшей Кичиг! О вы, (его) сотоварищи, (его) старшие родичи (братья) и мужи-воины! О, мое небо, крыша (защита) (для нас)! О, моя страна! ...'

Надпись сохранилась не полностью. Очевиден явный параллелизм с так называемым «вторым памятником с Тубы»¹³, то есть с наскальной надписью, обнаруженной в составе Шелаболинской писаницы, что находится выше по р. Тубе, чем Тепсейская писаница. Последние две строки можно читать и интерпретировать несколько иначе, чем у С. Е. Малова:

(2) te ηrim öčük bizke [bol]

(3) Idil jerim a! beηgü bol

(2) 'О мое Небо, да будь крышей (защитой) нам!

(3) О, моя страна Идил, вечно существуй!'

⁹ О слове *bediz* и его семантике в древнетюркских памятниках см.: С. Г. Кляшторный. Храм, изваяние и стела в древнетюркских текстах. — «Тюркологический сборник. 1974» (в печати).

¹⁰ М. И. Боргояков. Этнические и географические названия в енисейских памятниках древнетюркской письменности. — «Ученые записки Хакасского НИИЯЛИ. Серия филологии», № 1. Абакан, вып. XIV, 1970, стр. 93.

¹¹ Н. Ecsedy. Old Turkic titles. — «Acta Orientalia Hungarica», t. XVIII, 1965, стр. 86—87.

¹² С. Г. Кляшторный, И. У. Самбу. Новая руническая надпись в Улуг-Хемском районе. — «Ученые записки Тувинского НИИЯЛИ», вып. XV. Кызыл, 1971, стр. 248—249.

¹³ С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. М.—Л., 1957, стр. 66.

Надпись № 7.

.qut 'счастье, благодать'.

Надпись с горы Туран (рис. 6).

При обследовании автором горы Туран в 1967 г. установлено, что участок скалы, где были обнаружены надписи, разрушен камнепадом. Поэтому публикуется лишь текст, достаточно четко зарисованный А. В. Адриановым.

(1) ... t^e mⁱr čog^yη j^ay čog i^kigū

(2) yšb^ar biη lⁱk...

(1) 'Твой Темир-чор вместе с Йагы-чором, они оба

(2) Ышбар и обладающий тысячью...'

В таблице приведены также типы древнекыргызских тамг (родовых символов), непосредственно связанные с надписями или изображенные вблизи них. Более полную подборку тамг с Турана и Тепсея приводит (по А. В. Адрианову) Л. Р. Кызласов¹⁴.

Общим для всех приводимых здесь надписей является их сугубо не профессиональное исполнение, что особенно ясно проявляется в дукте. Также очевиден их культовый характер (отражение культа предка-эпонима?). С учетом более ранней, по сравнению с тувинскими, датировки основных памятников Минусинской котловины предпочтительна датировка надписей Тепсея и Турана VIII—IX вв.¹⁵.



¹⁴ Л. Р. Кызласов. О датировке памятников енисейской письменности. — «Советская археология», 1965, № 3, стр. 45.

¹⁵ С. Г. Кляшторный. Стелы Золотого озера. — В сб.: «Turkologica. К семидесятилетию академика А. Н. Кононова» (в печати).

Д. Д. ВАСИЛЬЕВ

ПАМЯТНИКИ ТЮРКСКОЙ РУНИЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ АЗИАТСКОГО АРЕАЛА

Со времени открытия и дешифровки тюркских рунических письменных памятников накоплен большой научный материал. На протяжении всей истории изучения тюркской руники неоднократно осуществлялись сводные издания текстов, включавшие определенную информацию о каждой находке и ее исследовании. Разбросанность публикаций рунических памятников по различным изданиям, отсутствие в сводных работах общих списков по отдельным регионам значительно усложняли учет материалов. Частичная кодификация памятников была проведена при составлении Древнетюркского словаря (Л., 1969, стр. XXI—XXXI, XXXIII, XXXV — далее ДТС), однако специфика подбора источников для словаря не обеспечивала возможности охвата всего фонда. Отсутствие приемлемых для исследования копий текстов и достоверных сведений о настоящем состоянии и местонахождении некоторых памятников также затрудняло каталогизацию.

Хотя сводный указатель рунических текстов до сих пор не составлялся, однако отдельные попытки учета памятников по различным регионам все же предпринимались.

В приводимом ниже перечне по мере возможности сохранен порядок групп памятников, вошедших в наиболее полные региональные списки. Перечень дополнен неучтенными или ранее не известными памятниками. В библиографических справках указаны только научные публикации памятников, содержащие иллюстративный материал, пригодный для использования исследователями. В перечень вошли рунические и руноподобные тексты как издававшиеся ранее в качестве памятников тюркской письменности, так и не публиковавшиеся. Названия памятников, принадлежность которых к тюркской рунике, по мнению некоторых специалистов, сомнительна, заключены в скобки. Памятники распределены по условным географическим регионам, обозначенным римскими цифрами с востока на запад. Перечень памятников внутри каждого региона приведен в соответствии с хронологией их открытия или публикации; если же группа текстов публиковалась одновременно, то сохранен порядок их издания.

1. Прибайкальско-Ленские руноподобные тексты

Далеко не все памятники этого региона с полной уверенностью могут быть отнесены к тюркским руническим, однако их научная дифференциация в данном случае невозможна из-за слабой изученности текстов.

Памятники №№ 1—11 обозначены и воспроизведены А. Н. Бернштамом по прорисовкам археологов (Древнетюркское письмо на р. Лене. — «Эпиграфика Востока», IV, 1951, стр. 76—86), им же предлагается карта-схема находок в регионе. **Памятники №№ 11—12** впервые расшифрованы К. Доннером и М. Рясняном (Zwei neue türkische Runeninsschriften, IRASFOu, LXV, 2, Helsingfors, 1931).

1. *Петровская надпись.*
2. *Давыдовская надпись.*
3. *Надпись на о-ве Писанном.*
4. *Куртухайская надпись.*
5. *«Шишкинская шаманка».*
6. *Качугская надпись.*
7. *Надпись в бухте Саган-Заба.*
8. *«Каменка» (Ольхонский р-н, 1 км от с. Поповой).*
9. *Скала Манхай I.*
10. *«Крест».*
11. *Хаишай (Надпись отмечена только на карте-схеме).*
12. *Пряслице I (А. П. Окладников, П. П. Барашков. Древняя письменность якутов. Якутск, 1942, стр. 32).*
13. *Пряслице II (Э. Р. Рыгдылон. К древнетюркским рунам Прибайкалья. — «Эпиграфика Востока», VIII, 1953, стр. 87—88).*
14. *Надпись на альчике из Нижне-Унгинского поселения (А. П. Окладников. Из истории Прибайкалья в тюркское время. — «Тюркологические исследования». М.—Л., 1963, стр. 279).*
15. *Руноподобные тексты ниже устья р. Сиинэ I (фото памятников №№ 15, 16: Н. К. Антонов. Былыргы тюрк тыла. Якутск, 1970).*
16. *Руноподобные тексты ниже устья р. Сиинэ II (см. памятник № 15).*
17. *Руноподобные знаки на каменном оружии (В. М. Надеяев. Древнетюркская верительная грамота. — «Известия Сибирского отделения АН СССР», 1974, № 11, стр. 115—118).*

II. Памятники бассейна Енисея

Памятники №№ 1—51 перечислены по изданию: С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков (М.—Л., 1952); **памятники №№ 52—85** перечислены по списку енисейских источников ДТС (стр. XXXV—XXXVI), где дана также библиография **памятников №№ 1—85**. Под **№№ 76—85** в ДТС перечислены мелкие предметы с руническими надписями; сведения о местонахождении этих предметов противоречивы или не указаны. В ходе полевых работ все предметы, кроме обломка зеркала под № 76, были найдены, учтены и отсняты на пленку. Отдельные дополнения к **памятникам, следующим после № 85**, были опубликованы автором («К изданию Корпуса памятников тюркской рунической письменности бассейна Енисея». — в книге «Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока». М., 1975, ч. I, стр. 91—95), но они носили предварительный характер и поэтому в них были внесены новые данные и уточнения.

В 1973—1975 гг., в соответствии с планом Советского Комитета тюркологов, были проведены полевые исследования в бассейне Верхнего Енисея с целью подготовки Альбома памятников тюркской рунической письменности. Работы проводились автором с группой сотрудников под руководством С. Г. Кляшторного. Полевые исследования позволили уточнить тексты и заполнить некоторые пробелы прежних публикаций. Были выполнены фотокопии и прорисовки около ста памятников.

1. Уюк-Тарлак.
2. Уюк-Аржан.
3. Уюк-Туран.
4. Оттук-Даш I.
- 5—8. Барык I—IV.
9. Кара-Суг (Улуг-Хем).
10. Элегес I.
11. Бегре.
12. Алдыы-Бель I.
- 13—23. Чаа-Холь I—XI.
24. Хая-Ужу.
25. Означенное I.
26. Ачуры.
27. Оя.
- 28—29. Алтын-Кель I—II.
- 30—34. Уйбат I—V.
- 35—37. Туба I—III.
38. Ак-Юс.
39. Кара-Юс.
40. Ташеба.
41. Хемчик-Чиргакы.
42. Бай-Булун I.
- 43—44. Кызыл-Чыраа I—II.
45. Кёжэлиг-Хову.
46. Телэ.
47. (см.: Памятники Монголии, № 8).
48. Абаканский памятник.
49. Бай-Булун II.
50. Тува «Б».
51. Тува «Д».
- 52—53. Элегес II—III.
54. Оттук-Даш III.
55. Тува «Г».
56. Малиновка.
57. Сайгын.
58. Кезек-Хурээ.
59. Хербис-Баары.
60. Саргал-Аксы.
61. Суглуг-Адыр-Аксы.
62. Канмыылдыг-Хову.
63. Ортаа-Хем.
64. Оттук-Даш II.
- 65—67. Кара-Булун I—III.
68. Эль-Бажы.
69. Чер-Чарык.
70. Ир-Холь.
71. Подкунинское.
72. Алдыы-Бель II.
73. Йиме.
74. Самагалтай.
75. Кутень-Булук.
76. Зеркало I.

77. Зеркало II (хранится в Минусинском музее, инв. № 5194).

78. Монета I (хранится в Минусинском музее, инв. № 1288, по списку А. М. Щербака, инв. № 5885).

79. Монета II (по спискам ДТС и А. М. Щербака монета утеряна. Вновь обнаружена сотрудниками Минусинского музея, где хранится под № 5617; последняя публикация: А. С. Аманжолов. Две енисейские рунические надписи. — «Ученые записки Хакасского НИИЯЛИ», вып. XIX, стр. 139—140).

80. Бляшка бронзовая от поясного набора (по списку А. М. Щербака — утеряна, вновь найдена в 1973 г. и находится ныне в экспозиции Минусинского музея).

81. Копенский золотой сосуд I.

82. Копенский золотой сосуд II.

83. Уйбатский серебряный сосуд.

84. Зеркало III (обломок с отверстием, находится в экспозиции Абаканского музея под № 5242).

85. Зеркало IV (слабо различимая руническая надпись на светлом обломке, хранится в Минусинском музее, инв. № 5243).

86. (Галька из д. Ачуры) (найдена в 1913 г., обозначена XXII № 40, хранится в Минусинском музее, инв. № 9530—1327. Имеет руноподобные знаки, опубликована в 1974 г.: А. С. Аманжолов. Указ. раб.).

87. Пряслице I (прорисовка текста с некоторыми отклонениями была опубликована в 1953 г.: Э. Р. Рыгдылон. К древнетюркским рунам Прибайкалья. — «Эпиграфика Востока», VIII, 1953, стр. 90; надписи на плоскостях диска не публиковались; памятник хранится в Минусинском музее, инв. № 2164).

88. [*Пряслице II (вернее, печать в форме призмы с осевым отверстием)*] (имеет восемь строк руноподобных надписей, находится в экспозиции Абаканского музея без инв. №; опубликована автором: «Руническая надпись на камне-амулете». — «Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока», вып. X. М., 1974, стр. 57—60).

89—90. (*Овюрские плиты*) (памятники найдены в 1955 г. А. Д. Грачом и опубликованы И. А. Батмановым: «Современная и древняя Енисейка». Фрунзе, 1962, стр. 25—27; И. А. Батманов и А. Ч. Кунаа. Памятники древнетюркской письменности Тувы, вып. I. Кызыл, 1963, стр. 65—66. Одинаковые по форме, четырехгранные стелы с почти квадратным сечением и однотипными по технике выполнения руническими знаками. Меньшая стела установлена в экспозиции Кызыльского музея, большая — находится на месте обнаружения, где и была заново сфотографирована автором в 1975 г.).

91. (*Беделигский валун*) (черный округлый камень, около 1 м в диаметре, покрыт четкими рисунками и отдельными руническими знаками; памятник находится в экспозиции Кызыльского музея, куда был доставлен А. Д. Грачом).

92. *Демир-Суг* (стела найдена в 1970 г. на правом берегу Улуг-Хема, состоит из двух обломков, хранится в Кызыльском музее: С. Г. Кляшторный, И. У. Самбу. Новая руническая надпись в Улуг-Хемском районе. — «Ученые записки Тувинского НИИЯЛИ», вып. XV. Кызыл, 1971, стр. 245—249).

93—94. *Йыр-Сайыр I—II* (Д. Д. Васильев, С. Г. Кляшторный. Руническая надпись Йыр-Сайыр. — «Советская тюркология», 1973, № 2, стр. 105).

95—97. *Хемчик-Боом I—III* (С. Г. Кляшторный. Рунические надписи Саянского каньона Енисея. — «Ученые записки Тувинского НИИЯЛИ», вып. XVI. Кызыл, 1973, стр. 228—231).

98. *Уйбат VI* (стела найдена А. Н. Липским в 1959 г., установлена в экспозиции Абаканского музея: В. Я. Бутанаев. Новая уйбатская сабра. — «Ученые записки Хакасского НИИЯЛИ», вып. XVIII. Абакан, 1973, стр. 149—152).

99. (*Ортаа-Тей*) [оленный камень, найденный вблизи Самагалтая (Тува); отдельные рунические знаки нанесены на основные изображения; хранится в Кызыльском музее. Фото и прорисовка — с отклонениями от оригинала: И. А. Батманов, А. Ч. Кунаа. Памятники древнетюркской письменности Тувы, вып. II. Кызыл, 1963, стр. 40—41].

100. *Стела из окрестностей Баян-Кола* (найдена автором в 1971 г., состоит из нескольких обломков, хранится в Кызыльском музее; публикация памятника в печати).

101. *Байкалово* (наскальная надпись найдена Я. А. Шером в 1971 г. на берегу Красноярского водохранилища. Публикация памятника сдана автором в печать).

102. *Надпись на псалии из кургана Аржан* (памятник найден М. П. Грязновым в 1971 г.: С. Г. Кляшторный. Рунические надписи из кургана Аржан II. — «Первобытная археология Сибири». М., 1975, стр. 184—185).

103. *Надпись на бляшке из кургана Аржан* (памятник найден в 1973 г., опубликован там же, где и № 102).

104. *Означенное II* (обломок стелы найден в 1972 г. М. И. Боргояковым, хранится в Хакасском НИИЯЛИ; публикация памятника подготовлена автором, находится в печати).

105. *Стела из Кызыльского музея* (памятник состоит из двух обломков, происхождение его сотрудникам музея неизвестно. Судя по породе

камня и палеографии, стела близка к Алды-Бельской группе. Надпись в три строки; публикация памятника подготовлена автором, находится в печати).

106. *Стела из окрестностей Черби* (памятник найден в 1973 г. Ю. И. Трифоновым, состоит из двух обломков, ныне находящихся в Саяно-Тувинской археологической экспедиции АН СССР. Надпись в две строки, почти стершиеся, публикация памятника — в печати).

107. (*Хадынных*) (небольшая стела с двумя руническими знаками и тамгой. Находится на правом берегу в Саянском каньоне Енисея в полукилометре от устья р. Хадынных на территории могильника; не опубликована).

108—110. *Уюк-Оорзак I—III* (оленные камни с надписями, относящиеся к Уюкской группе памятников, найдены в 1974 г. М. П. Грязновым; находятся в Кызыльском музее. Две стелы опубликованы: З. Б. Чадамба. Древнетюркские надписи урочища Оорзак. — «Ученые записки Туvinского НИИЯЛИ», вып. XVII. Кызыл, 1975, стр. 254—259).

111—117. *Тебсейский комплекс* [сохранившиеся семь надписей из десятка или более на г. Тебсей (Тепсей) близ устья р. Тубы. Найдены в начале века А. В. Адриановым. Копии надписей снимались в 1904, 1907, 1967 и 1975 гг.; публикация подготовлена С. Г. Кляшторным, находится в печати].

118. *Надпись на г. Туран* (найдена в начале века А. В. Адриановым, публикация С. Г. Кляшторного по прорисовке А. В. Адрианова находится в печати).

119. [*Балбал в окрестностях Саглы (Тува)*] (найден в 1975 г. Ю. Л. Аранчыном на одном из балбалов, установленных цепочкой от погребения с оградкой; содержит два рунических знака и рисунок; не опубликован).

120—121. *Стелы Красноярского музея I—II* (доставлены в Красноярск в начале века и долгое время считались утерянными. Одна из стел находится в экспозиции музея, другая — в фондах. Прорисовки со стел выполнены Н. В. Нащокиным. Одна из надписей нанесена на каменном изв.).

122. *Надпись на оградке близ Йиме* (упоминание о надписи: З. Б. Арагачы, Д. М. Насилов. О надписи на скале Хая-Ужу. — «Ученые записки Туvinского НИИЯЛИ», вып. X. Кызыл, 1963, стр. 263; памятник сильно разрушен выветриванием; скопирован автором в 1975 г.).

III. Памятники Монголии*

Памятники №№ 1, (1¹), 3, 4, (4¹), 8, 9, 10 в ранних исследованиях обозначались как Кошо-Цайдамская группа. Тексты 1¹ и 2¹ были обнаружены во время раскопок совместной экспедиции академий наук МНР и ЧССР (первый был опубликован в III томе Трудов экспедиции, второй — в 1962 г. Н. Сэр-Оджавом).

1. *Памятник в честь Кюль-Тегина* (Atlas der Alterthümer der Mongolei. Hrsg. von Dr. W. Radloff, вып. I—IV, 1892—1899; далее РАТлас — табл. ХCVIII—XCIX, СП—CIY; Inscriptions de l'Orkhon. Rec. par L'expédition finnoise 1890 et publ. par la Soc. Finno-Ougr. Helsingfors, 1892; далее ФАТлас II — табл. 2—12).

1¹. *Надпись на черепахе-пьедестале памятника* (Les dessins pictographiques et les inscriptions sur les rochers et les steles en Mongolie. —

* Сведения по отдельным находкам данного региона были любезно сообщены автору С. Г. Кляшторным и Э. А. Новгородовой.

«Corpus scriptorum mongolorum», t. XVI, fasc. 1. Ulaanbaatar, 1968, стр. 40, далее CSM).

2. Памятник в честь Тоньюкука (РАтлас, табл. CVI—CXVI).

2¹. Надпись на штукатурке развалин храма в честь Тоньюкука (CSM, стр. 40).

3. Памятник в честь Бильге-кагана (РАтлас, табл. XXI—XXV, XXVI; ФАтлас, II, табл. 20—35).

4. Онгинский памятник (РАтлас, XXVI табл.).

4¹. Раскопанные обломки памятника, хранящиеся в Монгольском музее (CSM, стр. 44).

5. Карабалгасунские фрагменты (РАтлас, табл. XXXV).

6. Памятник Ихе-Хушоту (Кюль-чур) (W. Kotwicz, A. Samoilowitch. Le monument turc d'Ikhe-Khuchotu en Mongolie centrale. — «Rocznik orientalistyczny», vol. IV, 1928, стр. 60—107).

7. Шинэ-Усу (Боян-чор, Моюн-чур) (фото эстампажей памятников №№ 7, 8: G. J. Ramstedt. Zwei uigurische Runenschriften in der Nord-Mongolei. JSFOu, XXXVIII, 1922—1923, стр. 3—34; эстампирован С. Г. Кляшторным).

8. Памятник из Суджи (по списку енисейских памятников С. Е. Малова — № 47).

9. Памятник Ихе-Асхете (РАтлас, табл. XV, XXV).

10. Памятник Ихе-Хануйн-нор (РАтлас, табл. LXXIII; памятники №№ 9, 10 заново скопированы С. Г. Кляшторным в 1974 г.).

11. Надписи скалы Тайхир (Тексты Хойто-Тамира) (по прорисовкам Д. А. Клеменца: W. Radloff. Alttürkische Inschriften der Mongolei, 3. Lief., стр. 260—268; CSM, стр. 34—36; P. Aalto. Materialien zu den Alttürkischen Inschriften der Mongolei. Helsinki, 1958, стр. 62—76, в этом издании опубликованы прорисовки Г. Рамстедта; Д. Д. Васильев. Графические особенности памятников Хойто-Тамира. — «Вопросы восточного литературоведения и текстологии». М., 1975, стр. 100—109).

11¹. (Отдельные рунические графемы среди тамг комплекса Шивэт-улан) (P. Aalto, стр. 77—90).

12. Чойрская надпись (Последняя уточненная публикация: С. Г. Кляшторный. Руническая надпись из Восточной Гоби. — «Studia turcica». Budapest, 1971, стр. 249—258).

13. (Надпись на обломке черепицы из окрестностей Улан-Батора) (фото и уточненное чтение памятников №№ 13—14: H. N. Orkun. Eski türk yazitlari. Istanbul, cilt II, 1940, стр. 161—163; см. также рец. С. Е. Малова. — «Вестник древней истории», № 2, 1948, стр. 124).

14. Наскальная надпись у г. Гюрбельджин (см. памятник № 13; CSM, стр. 37).

15. Хангидайская надпись (фото эстампажей и прорисовок памятников №№ 15—25 собраны в CSM, стр. 37—43, 69, там же даны библиографические справки первых публикаций).

16. Надпись близ зимовки Ару-хан.

17—18. Надписи близ Байшин-Удзур в Дарив сомоне I—II.

19. Надпись на бронзовой пластинке из краеведческого музея Восточно-Гобийского аймака.

20. Надпись из сомона Тэс.

21. Надпись на стеле из окрестностей Уланкома.

22. Наскальная надпись в восточной части сомона Сэврэй.

23. Наскальная надпись к северу от Обур-Дурулджи.

24. Хентей I (первая публикация надписи: К. В. Вяткина. Кентейская руническая надпись. — «Филология и история монгольских народов». М., 1958, стр. 217—218).

25. *Хентей II.*

26. *Надпись на г. Арц-Богдо* (А. Н. Бернштам. Новые древнетюркские и китайские эпиграфические находки. — «Эпиграфика Востока», XII, 1958, стр. 68—69; CSM, стр. 43; В. М. Надеяев. Древнетюркская надпись из Ховд-сомона МНР. — «Бронзовый и железный век Сибири». Новосибирск, 1974, стр. 163—166; воспроизведение надписи отличается от предыдущих ее изданий).

27. *(Надпись на камне, установленном у книгохранилища Публичной библиотеки МНР)* (CSM, стр. 43).

28. *Надпись на монете из Восточной Монголии* (С. Г. Кляшторный. Монета с рунической надписью из Монголии. — «Тюркологический сборник. 1972». М., стр. 334—338).

29. *Надпись оз. Цаган-нур* (найдена В. В. Волковым и Н. Сэр-Оджавом при раскопках в 1972 г.).

30. *Надпись на скале в 17 км от сомона Бэгэр, Гоби-Алтайский аймак* (найдена С. Г. Кляшторным в 1974 г.).

31. *Надпись на скале г. Хутук-ула близ Баян-Хонгора* (найдена С. Г. Кляшторным в 1974 г.).

32. *Наскальная надпись урочища Яманы-Ус* (публикация Э. А. Новгородовой и Э. Р. Тенишева — в печати).

33. *Кирпич с двумя знаками из отвала раскопок комплекса Кюль-Тегина* (найден Э. А. Новгородовой в 1974 г.).

IV. Памятники Алтая

За основу принят список источников ДТС, однако внесены некоторые изменения: вторым по списку следует текст Чарыш I, изданный Г. И. Спасским в 1818 г.; №№ 7—10 в списке ДТС объединены под кодом А 7 (Чарыш II), но палеографически тексты неоднородны, они не находятся в непосредственной близости друг от друга и поэтому требуют разделения (в библиографии этих источников в ДТС кодовые обозначения даны ошибочно). Памятники №№ 11—13 в списке ДТС объединены под кодом А 8, но по причинам, изложенным выше, они также должны быть разделены. Памятник № 13 был дополнительно издан Е. И. Убрятовой. В этом издании опровергается первое чтение и утверждается, что текст следует читать сверху вниз. Однако традиционные позиции несимметричных графем противоречат такому утверждению. Но если даже допустить возможность подобного направления текста, то отчетливо ретушированное фото обнаруживает случаи несоответствия знака его фонетической интерпретации (по статье Е. И. Убрятовой, знаки 3, 5, 10, 13, 15—17, 19, 25—28 и др.).

1. *Серебряный сосуд из Государственного Эрмитажа* (П. М. Мелиоранский. Два серебряных сосуда с енисейскими надписями. — ЗВОРАО, т. XIV, вып. I, 1902, стр. 17—20).

2. *Чарыш (Чарыш I)* (Г. И. Спасский. Записки о сибирских древностях. — «Сибирский вестник». СПб., 1818, табл. II, 4; Э. Р. Тенишев. Руническая надпись на утесе р. Чарыша (Алтай). — «Эпиграфика Востока», XII, 1958, стр. 62—66).

3. *Серебряный сосуд из долины р. Катанды* (П. М. Мелиоранский. Небольшая орхонская надпись на кринке Румянцевского музея. — ЗВОРАО, т. XV, вып. 2—3, 1903, стр. 34—36).

4. *Серебряный сосуд из Туяхты* (А. К. Боровков. Енисейские надписи на сосудах. — «Тюркологические исследования». М.—Л., 1963, стр. 191—192).

5. *Серебряный сосуд из Курая (Курай I)* (А. К. Боровков. Указ. раб., стр. 193).

6. *Серебряная поясная блоха из Курая (Курай II)* (А. К. Боровков. Указ. раб., стр. 193—194).

7. *Мендур-Соккон I* (К. Сейдакматов. Древнетюркские надписи в Горном Алтае. — «Материалы по общей тюркологии и дунгановедению». Фрунзе, 1964, стр. 96; Э. Р. Тенишев. Древнетюркская эпиграфика Алтая. — «Тюркологический сборник». М., 1966, стр. 262—263; Н. А. Баскаков. Три рунические надписи из Мендур-Соккон Горно-Алтайской АО. — «Советская этнография», 1966, № 6, стр. 79—81).

8. *Мендур-Соккон II* (К. Сейдакматов. Указ. раб., стр. 97; Э. Р. Тенишев. Указ. раб., стр. 264).

9. *Мендур-Соккон III* (К. Сейдакматов. Указ. раб., стр. 97; Э. Р. Тенишев. Указ. раб., стр. 264; Н. А. Баскаков. Указ. раб., стр. 82—83).

10. *Мендур-Соккон IV* («надпись на обломке из Бийского музея». — К. Сейдакматов. Указ. раб., стр. 98; Э. Р. Тенишев. Указ. раб., стр. 264).

11—13. *Бичикту-Боом I—III* (памятники № №11—13 опубликованы и прочтены — К. Сейдакматов. Указ. раб., стр. 99—101; Э. Р. Тенишев. Указ. раб., стр. 264—265; Е. И. Убрятова. Древнетюркская руническая надпись из Бичикту-Бома. — «Бронзовый и железный век Сибири». Новосибирск, 1974, стр. 156—162).

14. *Кош-Агачская надпись* (надпись была найдена в 1969 г. Е. М. Тошчаковой и опубликована В. М. Наделяевым, который в соответствии со списком ДТС предложил обозначить ее А 9. Вторичная прорисовка текста была сделана в 1971 г. Д. Г. Савиновым и передана автору до выхода статьи В. М. Наделяева. Текст, при всей его краткости, по нашему мнению, имеет несколько иное чтение: В. М. Наделяев. Древнетюркская руническая надпись из Кош-Агача. — «Известия Сибирского отделения АН СССР», 1973, № 1, вып. I, стр. 108—110; Д. Д. Васильев. Новые находки тюркской руники (в печати).

V. Тексты из Восточного Туркестана

Каталогизация памятников №№ 1—3 и 5—8 и библиография их публикаций даны в списке источников ДТС (стр. XXXIII, XXXV).

1. *Тойок I* (A. von Le Coq. Köktürkisches aus Turfan. — SPAW, 1909, XI, стр. 1047—1061; Н. N. Orkun. Eski türk yazitlari. Istanbul, cilt II, стр. 24; код по ДТС — LCK).

2. *Тойок II* (V. Thomsen. Ein Blatt in türkischer «Runen» schrift aus Turfan. — SPAW, 1910, XV, стр. 307—314; Н. N. Orkun. Указ. раб., с. II, стр. 57—59, 97; код по ДТС — ThB).

3. *Турфанская группа фрагментов* (A. von Le Coq. Указ. раб.; Н. N. Orkun. Указ. раб., с. II, стр. 175—183; код по ДТС — LCK).

4. *Надпись на обороте лондонского списка уйгурской рукописи буддийской сутры «Sekiz jukmäk»* (W. Bang, A. von Gabain, G. Rachmati. Türkische Turfantexte VI. — SPAW, 1934, X, стр. 92—192; Н. N. Orkun. Указ. раб., с. II, стр. 184; код по ДТС — TT VI).

5. *Четيرة кратких фрагмента из Мирана* (V. Thomsen, Dr. M. A. Stein's manuscripts in turkish «runic» script from Miran and Tun-Huang. — JRAS. London, 1912, January, стр. 181—227; Н. N. Orkun. Указ. раб., с. II, стр. 63—68, 98; код по ДТС — ThS I).

6. *«Гадательная книжка» из Дуньхуана («Yrq bitig»)* (V. Thomsen. Указ. раб.; Н. N. Orkun. Указ. раб., с. II, стр. 71—93, 99—100; код по ДТС — ThS II).

7. *Группа фрагментов из Дуньхуана I* (V. Thomsen. Указ. раб.; код по ДТС — ThS III).

8. *Фрагмент из Дуньхуана II* (V. Thomsen. Указ. раб.; Н. N. Orkun. Указ. раб., с. II, стр. 96, 100; код по ДТС — ThS IV).

9. *Зеркало из Восточного Туркестана* (С. Кляшторный, Е. Лубо-Лесниченко. Бронзовое зеркало из Восточного Туркестана с рунической надписью. — «Сообщения Государственного Эрмитажа», т. XXXIX. Л., 1974, стр. 45—48).

10. *Граффити из 8-го пещерного храма в Дуньхуане* (P. Pelliot. Les grottes de Touen-houang. Peintures et sculptures bouddhiques des époques des Wei, des T'ang et des Song. t. I. Paris, 1914 (1920), pl. XVIII. — «Mission Pelliot en Asie Centrale»).

11. *Граффити из жилой пещеры буддийского храма в Яр-Хото*. (D. Klemenzen. Turfan und seiner Altertümer, Nachrichten über die von der kaiserlichen Akademie der Wiss. zu St. Petersburg im Jahre 1898 ausgerüstete Expedition nach Turfan, H. I. StP, 1899, стр. 38, 47—48; W. Radloff. Altuirische Sprachproben aus Turfan. Там же, стр. 80—83; Н. N. Orkun. Указ. раб., с. III, стр. 205—206).

VI. Рунические и руноподобные памятники Северной Киргизии и Казахстана

Наряду с источниками этого региона, получившими известность с начала нашего века, ниже с информационной целью приводятся и памятники руноподобные, принадлежность которых тюркам оспаривается многими авторитетными специалистами. Однако, подобно тому, как это было сделано и в списках других регионов, такие памятники нами здесь упоминаются, так как при публикациях они были представлены в качестве тюркских рунических. При переиздании этих памятников вносились отдельные уточнения, поэтому в списке указывается последняя по времени публикация.

1—5. *Талас I—V (Урочище Айртам-Ой)* (С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.—Л., 1959, стр. 57—63 — Т IV; Новые эпиграфические находки в Киргизии (1961 г.). Фрунзе, 1962, стр. 26 — ТII, — далее НЭНК; И. А. Батманов. Таласские памятники древнетюркской письменности. Фрунзе, 1971, стр. 9, 13, 15, — Т I, Т III, Т V, — далее ТПДП).

6. *Талас VI (Терек-Сай)* (С. Сыдыков. Древние надписи в ущелье Кулан-Сай. — «Материалы по общей тюркологии и дунгановедению». Фрунзе, 1964, стр. 106; ТПДП, стр. 2, 16).

7. *[Талас VII (Деревянная палочка из Ачикташа)]* (С. Е. Малов. Указ. раб., стр. 63—68).

8—12. *Талас VIII—XII (Урочище Айртам-Ой)* (НЭНК, рис. 4; ТПДП, стр. 19—24).

13. *Кой-Сары* (ТПДП, стр. 25—26).

14. *Каратальское (Талды-Курганский р-н)* (М. Е. Массон. К истории открытия и изучения древнетурецких рунических надписей в Средней Азии. — «Материалы Узкомстариса», вып. 6—7. М.—Л., рис. 1).

15. *Надпись на зеркале из Урджара* (А. Н. Бернштам. Новые эпиграфические находки из Семиречья. — «Эпиграфика Востока», II, 1948, стр. 108—110).

16. *(Костяная бляшка с изображением оленя)* [А. С. Аманжолов. Еще раз об иртышской рунической надписи. — «Вестник АН Казахской ССР», № 9 (269), стр. 66—70].

17. [*Надпись на кирпиче (Сырдарья)*] (Памятники №№ 17—18 опубликованы в уточненном варианте: — А. С. Аманжолов. Две рунические надписи с Сырдарьи. — «Вестник АН Казахской ССР», 1969, № 1).

18. (*Надпись на глиняной печати*) (см.: памятник № 17).

19. (*Илийская наскальная эпиграфика*) (А. С. Аманжолов. Илийские рунические надписи». — «Вопросы языкознания», 1969, № 3).

20. (*Надпись на изваянии из Джамбульского музея*) (Г. Айдаров. Еще одна находка по орхоно-енисейской письменности. — «Эпиграфика Востока», вып. XIX, 1969, стр. 106—108).

21. (*Кегенская надпись*) (последняя публикация памятника: Г. Мусабаев. Кегенская надпись. — «Эпиграфика Казахстана, I». Алма-Ата, 1971, стр. 24—28).

22. [*Знаки на бронзовом перстне (басс. р. Или)*] [А. С. Аманжолов. Руническая надпись на бронзовом кольце (р. Или). — «Вестник АН Казахской ССР», 1971, № 1].

23. (*Надпись на скале Тамгулукташ*) (А. Amanjolov. Forefather goat or the ancient Turkic inscription in early Greek alphabet. — «Archiv orientální». Praha, 1974, 1/42).

24. (*Руноподобная надпись на серебряной чашечке*) (А. С. Аманжолов. Руноподобная надпись из сакского захоронения близ Алма-Аты. — «Вестник АН Казахской ССР», 1971, № 12).

25. *Надпись на иртышском зеркале* (Ф. Х. Арсланова, С. Г. Кляшторный. Руническая надпись на зеркале из Верхнего Прииртышья. — «Тюркологический сборник 1972». М., 1973, стр. 306—315).

26. *Пряслище с Талгарского городища* (окрестности Алма-Аты) (найдено при раскопках археологом К. А. Акишевым; не опубликовано).

27. *Кызылкумская надпись* (информация о надписи в печати, текст прочитан как тюркский рунический С. Г. Кляшторным).

VII. Фрагменты из Ферганы, Алтая и Таджикистана

Памятники №№ 1—12 каталогизированы Ю. А. Заднепровским в статье «Тюркские памятники в Фергане» («Советская археология», 1967, № 1, стр. 270—274), там же приводятся и библиографические справки; памятник № 13, насколько нам известно, не публиковался.

А.

1. *Калаи-Кафир (Исфара I).*
2. *Калаи-Боло I (Исфара II).*
3. *Калаи-Боло II (Исфара III).*
4. *Кизил-Пиляу (Исфара IV).*
5. *Фрагмент на венчике хума из Баткенской долины.*
6. *Фрагмент на венчике хума из замка Ош-Хона.*
7. *Надпись на кувшине из окрестностей Маргелана.*
8. *Фрагмент на керамике из окрестностей г. Ферганы.*
9. *Фрагмент на керамике из окрестностей г. Узгена.*
10. (*Надпись на сосуде из окрестностей г. Беговата*).
11. *Надпись на бронзовом перстне.*
12. (*Руноподобные знаки на стеле из окрестностей сел. Сары-Таи*).
13. *Фрагмент из 4-х знаков на обломке чаши, найденном на берегу р. Кува-Сай.*

14. *Фрагмент на венчике хума из Кувы* (Э. Р. Тенишев. Тюркская руническая надпись из Кувы. — «Восточная филология», 1973, вып. III. Тбилиси, стр. 263—265).

15. *Кувшинчик из Андижана с рунической надписью* (единственное упоминание памятника: В. А. Булатова. Руническая надпись на хуме из Ферганы. — «Общественные науки в Узбекистане», 1965, № 8, стр. 62).

16. *(Надпись на венчике хума из Калаи-Кафирниган)* (найдена в 1975 г. Б. А. Литвинским, текст состоит из пяти графем и двух тамгообразных клейм, памятник не опубликован).

Б.

1. *[Рукописный документ из Согда (с г. Муг)]* (А. Н. Бернштам. Древнетюркский документ из Согда. — «Эпиграфика Востока», вып. V, 1951, стр. 65—75).

Приведенные списки представляют собой попытку дать наиболее полный свод известных в настоящее время рунических и руноподобных текстов азиатского ареала. Спорное определение ряда текстов указывает на недостаточную изученность рунической письменной культуры тюрков и на необходимость дальнейшего комплексного исследования памятников.

Д. М. НАСИЛОВ

ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕТЮРКСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ (ОРХОНО-ЕНИСЕЙСКИЕ И ДРЕВНЕУЙГУРСКИЕ) В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЮРКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

(ОБЗОР ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ 1969—1974 гг.)

В «Тюркологическом сборнике 1970»¹, составленном по материалам I Тюркологической конференции в Ленинграде (июнь 1967 г.), подводятся итоги исследований по основным направлениям отечественной тюркологии за предшествовавшие пятьдесят лет ее развития, в том числе и в области изучения древнейших тюркских письменных памятников — орхоно-енисейских и уйгурских. Последующий период характеризуется углубленным вниманием советских языковедов к древнетюркской проблематике. Заметно увеличился не только объем публикаций по этой тематике, но, что особенно примечательно, расширился и круг обсуждаемых проблем. Следует отметить, что в последнее время в научный обиход вводится и активно исследуется — прежде всего лингвистически — значительное число новых тюркских письменных памятников, относящихся к разным эпохам, и на этой базе появляются обобщающие работы по исторической грамматике и лексикологии отдельных тюркских языков². Все это, несомненно, способствует дальнейшему изучению грамматического строя тюркских языков в плане их исторического развития и в конечном счете — созданию сравнительно-исторической грамматики, по общему признанию, одной из насущных задач тюркологической науки. Письменные памятники служат, несомненно, «... главным материалом для исследования истории языка...»³. Вот почему нельзя не согласиться с тем, что «успехи и достижения в исторических и сравнительно-исторических изысканиях... теснейшим образом связаны с подготовкой и изданием описаний (по строго разработанной схеме) фонетического и грамматического строя тюркоязычных памятников рунического, уйгурского, арабского письма, а также транскрипционных текстов»⁴. Особое место среди других памятников принадлежит древнеуйгурским текстам, а также орхоно-енисейским надписям. Эти довольно значительные по объему связанные автохтонные тексты дают представление о грамматике и лексике тюркских диалектов VII—XI вв., нашедших отображение в своеобразно обработанной эпитафийной форме, которую, возможно, следует рассматривать в качестве языка-койне, обслуживавшего ряд тюркских племен. Благодаря именно этим качествам данные памятники представляют необычайную ценность для истории языка. Поэтому достоверность вводимых в обиход языковых фактов, безупречность их интерпретации и строго аргументированное привлечение для сравнительно-исторических построений приобретает исключительную важность. В связи с отмеченным выше ростом интереса к исследованию древнетюрк-

ских памятников правомерно подвести некоторые итоги проделанной в этой области работы.

Прежде всего следует отметить, что число известных рунических памятников постоянно пополняется новыми находками, содержащими свежий для науки языковой материал, а также дополнительные сведения по древней истории народов Центральной Азии, Южной Сибири и других районов. Расширяется география находок рунических и руноподобных надписей, оставленных тюркоязычными народами. Таким образом, восемьдесят с лишним лет, минувшие после первой дешифровки рунической письменности (1893 г.), ознаменованы не только углубленным исследованием ранее открытых памятников, но и непрекращающимися поисками новых, интересными открытиями и находками, их непрерывным активным освоением, что, естественно, в свою очередь выдвигает новые проблемы перед рунологией⁵.

По-прежнему основными районами наиболее значительных находок рунических надписей остаются бассейн р. Енисей (Тува и Хакасия) и Монголия — старейшие центры древнетюркской государственности.

К 1970 г., например, усилиями одной лишь Саяно-Тувинской археологической экспедиции Академии наук СССР (СТЭАН) на территории Тувинской АССР было обнаружено восемь неизвестных ранее надписей⁶, расшифровкой которых вместе с тувинскими учеными занимались также И. А. Батманов (1906—1969)⁷ и С. Г. Кляшторный.

Летом 1970 г. один из отрядов СТЭАН обнаружил в Улуг-Хемском районе Тувинской АССР, в долине реки Демир-Суг, притока Улуг-Хема, стелу с тремя строками рунических знаков (10, 30 и 20 и тамга)⁸. Содержание надписи трафаретно, и она в этом смысле не выделяется среди прочих енисейских эпитафий VIII—XII вв. Более интересна тамга на стеле, поскольку она по начертанию совпадает с таковой на пятом Чаа-Хольском памятнике.

В 1970—1973 гг. ряд надписей был обнаружен в Саянском каньоне Енисея, где за это время найдено семь стел или фрагментов стел, три наскальные надписи, не говоря уже о многочисленных петроглифах древнетюркской эпохи⁹. Эти надписи, которые можно датировать IX—X вв., объединяются в одну группу на основании совпадения тамг, что говорит об их принадлежности к единой родо-племенной группировке древних кыргызов, проникавших в каньон из степной долины Енисея.

В 18 км от начала каньона, у впадения р. Хемчик в Енисей, на скалах Хемчик-Боома найдены тюркские тамги, и среди них два рунических знака, которые читаются как qut 'душа, счастье, благодать'¹⁰. В указанных работах сообщается еще о двух находках в этом районе. Почти на самом берегу Енисея обнаружены два обломка одной стелы, на которой имеется фрагментарная надпись из трех строк (сохранилось около девяти знаков рунических знаков). Судя по тамге, стелу можно датировать IX—X вв. Здесь же найден фрагмент еще одной стелы с остатками трехстрочной надписи. Видимо, дальнейшее исследование Саянского каньона весьма перспективно¹¹, поскольку многие обнаруженные здесь находки, частью еще не опубликованные, проливают свет на древнюю историю этих мест¹².

В 6 км от устья р. Хемчик, недалеко от минерального источника Иир-Сайыр, на двух стелах из бурого песчаника сохранились остатки рунических надписей¹³. На первой из них видна тамга и один знак r²—ег 'муж, мужчина'. На второй стеле с южной стороны просматриваются две строки, в которых можно выделить около сорока рун, а в двух

строках юго-западной — около двадцати. Поверхность камня сильно повреждена, поэтому чтение надписей весьма предположительно.

Часть уже известных памятников Хакасского ареала переиздана И. А. Батмановым и О. В. Субраковой¹⁴. Тексты десяти памятников, хранящихся в Минусинском краеведческом музее имени Н. М. Мартынова, были заново эстампированы, прочитаны и переведены на русский и хакасский языки, причем авторы в своей работе опирались главным образом на опубликованные в известной книге С. Е. Малова надписи¹⁵. Авторы внесли некоторые уточнения в чтение текстов и в переводы. Поскольку фотографии текстов памятников в этом издании нельзя, к сожалению, признать удовлетворительными, большое значение приобретают приведенные четкие прорисы, требующие лишь незначительных уточнений. Однако предстоит еще немалая работа по выявлению следов рунических знаков на памятниках для заполнения некоторых лакун в чтении¹⁶.

Есть публикации новых находок и хакасских памятников: обнаружен еще один, теперь уже шестой, памятник из долины р. Уйбат, левого притока р. Абакан, также расположенный вблизи бывшего улуса Чаркова¹⁷. На двух сторонах песчаниковой плиты нанесены надписи из трех строк (тридцать рун в каждой строке), сохранность памятника средняя, содержание — эпитафия.

Таким образом, в Туве и Хакасии постоянно обнаруживаются новые эпиграфические памятники¹⁸. К этому же ареалу примыкают и алтайские памятники.

Чтение рунической надписи у с. Бичикту-Бом Онгудайского р-на Горно-Алтайской АО, обнаруженной в 1962 г., было подвергнуто ревизии Е. И. Убрятовой на основе осмотра надписи в 1966 г.¹⁹ В отличие от ранее предложенных вариантов интерпретации²⁰ Е. И. Убрятова, основываясь на анализе рунических знаков, читает текст (сорок три знака) сверху вниз и по содержанию считает его *алгыс'ом* 'благожеланием', обращенным к духу-покровителю данного места.

Летом 1969 г. на левом берегу р. Бар-Бургазы, одного из истоков р. Чуи, в 30 км от райцентра Кош-Агач (Горно-Алтайская автономная область) была обнаружена стела с типичной древнетюркской эпитафией²¹. На одной грани стелы хорошо сохранилась однострочная надпись (39 рун), читается она снизу вверх и является девятым из найденных на территории Алтая рунических текстов.

Советские ученые в содружестве с монгольскими коллегами продолжали поиски эпиграфических памятников в другом, очень важном в этом отношении районе — Монголии. Большой успех выпал на долю С. Г. Кляшторного, известного интерпретатора древнетюркских текстов. В 1968—1969 гг. ему удалось посетить наиболее важные районы, некогда «входившие в состав тюркских каганатов, в том числе Хангайскую горную страну, Монгольский и Гобийский Алтай, котловину Больших озер, Южную Гоби. В той или иной степени были обследованы 51 тюркская и 2 согдийские надписи²² на стелах, отдельных камнях, в составе наскальных комплексов... и на предметах»²³. Важным результатом этих исследований следует признать вывод о том, что руническая письменность в Монголии в древнетюркскую эпоху имела широкое распространение, и ею владел значительный круг людей. Кроме того, выяснилось, что не только во Втором, но и в Первом тюркском каганате существовал обычай установки при погребениях стел с надписями (см. упоминавшуюся сино-согдийскую надпись)²⁴.

Из опубликованных из этой группы рунических текстов следует отметить прежде всего так называемую Чойрэнскую надпись из Восточ-

пой Гоби (Восточно-Гобийский аймак). Надпись на каменной бабе была обнаружена еще в 1928 г.; ее предварительное чтение предложил С. Е. Малов²⁵. В 1968 г. С. Г. Кляшторный провел ревизию сильно поврежденного текста. Как выяснилось, сохранилось 72 рунических знака в шести строках, расположенных бустрофедоном, несколько тюркских тамг, в том числе и тамга второй тюркской династии²⁶. Надпись принадлежит, по мнению С. Г. Кляшторного, «вождю из племени ашидэ» — Тоньюкуку, она может быть датирована между 688—691 гг. и поэтому правомерно считать ее «самой ранней датируемой древнетюркской надписью, первым письменным памятником Второго тюркского каганата»²⁷.

Интересен также Сэврэйский камень, тюрко-согдийская билингва, к сожалению, сильно поврежденная²⁸. Стела находится на крайнем юге пустыни Гоби, в 6 км к юго-востоку от Сэврэй-сомона. На ее лицевой грани расположены две надписи — тюркская и согдийская, по семь строк каждая. В тюркской части сохранилось около 55 рун. Памятник датируется эпохой существования в Монголии Уйгурского каганата (744—840 гг.), а если принять предлагаемое чтение имени собственного уйгурского кагана и согласиться с толкованием содержания надписи, то наиболее вероятна дата около 762 г.

Чтение надписи из двадцати трех знаков (обнаружена в 1949 г. около Ховд-сомона Южно-Хангайского аймака МНР, ныне хранится в Улан-Баторе в Институте истории Академии наук МНР), а также два возможных варианта ее перевода предложил В. М. Наделяев²⁹.

К сожалению, все еще существует значительный временной разрыв между сообщением о находке нового рунического текста и его публикацией.

Известные до сего времени рунические памятники из долины р. Талас (Киргизская ССР) были переизданы И. А. Батмановым³⁰. В этом издании представлены тексты двенадцати памятников и три надписи руноподобными знаками на венчике хума и двух камнях; здесь кратко изложена история их открытия и публикаций, дается анализ текстов, рассматриваются их графические и языковые особенности: фонетическая система, морфологические явления, лексический состав, имеются индекс слов в оригинальном написании и глоссарий. В брошюре, построенной аналогично другим изданиям, осуществленным под руководством и при участии И. А. Батманова, приводятся фотографии памятников и их выверенные прорисы, транслитерация, транскрипция и перевод. По мнению автора, графически таласские памятники представляют собой разновидность енисейского рунического письма, хотя в них имеются своеобразные буквы. В их языке отмечаются говоры трех типов: э||и, с||ш, узкие лабиальные||нелабиальные. Как считает И. А. Батманов, указанные факты позволяют предполагать, что руническую письменность в этот район занесли тюркские племена, переместившиеся со среднего и верхнего течения Енисея³¹.

Растет число находок рунических или рунообразных надписей в юго-восточной Европе³². И хотя порою возникают споры об их языковой принадлежности, многие ученые все же склоняются к мнению, что они оставлены тюркоязычными народами³³.

Рядом с Хумаринским городищем (Карачаевский р-н Карачаево-Черкесской АО) обнаружен еще один центр рунических писаниц — городище Кара-Кент. Здесь надписи нанесены на обломках каменных стен³⁴. Руны этих надписей совпадают с рунами на баклажках Новочеркасского музея и Маяцкого городища. Найдены рунические знаки и в аланских катакомбах у Токмак-Кая³⁵.

Камень с восемью руноподобными знаками (две строки) найден в 1958 г. в с. Юрьево Марийской АССР во время прокладки водопровода³⁶. Судя по языку, надпись можно датировать X—XI вв.

Наконец, следует отметить небольшие руноподобные и рунические надписи на всевозможных предметах быта, найденных в различных местах, чаще всего при археологических работах³⁷. Эти находки представляют, помимо лингвистического, еще значительный историко-этнографический интерес.

Говоря о результатах рунологических исследований, широко развернувшихся в Казахстане³⁸, следует упомянуть о публикации нескольких рунических надписей, обнаруженных прежде всего благодаря усилиям проводящейся здесь специальной эпиграфической экспедиции³⁹. К сожалению, пользоваться этими публикациями нужно осторожно в связи с их противоречивостью, прелиминарностью и во многом спорностью прочтения, слабой документированностью, некачественным воспроизведением оригиналов. Так как на основе таких материалов нередко делаются далеко идущие, порой несколько поспешные выводы, например, об обнаружении тюркских надписей руническим алфавитом, датированных V—IV вв. до н. э.⁴⁰, нужда в новом критическом и более достоверном издании эпиграфических памятников из Казахстана особенно назрела.

О значительно возросшем в последние годы интересе к памятникам рунической письменности говорит хотя бы то, что публикации на эту тему вышли за пределы научных изданий. Сообщения о надписях (конечно, «самых древних» и «уникальных»!) стали встречаться на страницах литературных, научно-популярных журналов и даже газет⁴¹. Ясно, что в таких случаях бывает трудно избежать издержек. Безусловно, знакомить широкого читателя с древней историей народов, с культурным наследием прошлого, с состоянием научной разработки проблем рунологии важно и необходимо. Однако делать это следует квалифицированно, не допуская профанации, не поддаваясь соблазну сенсационности.

Осуществленный в последнее время повторный осмотр многих ранее обнаруженных рунических памятников показал, что имеющиеся их публикации страдают рядом изъянов. Прежде всего это касается точности передачи рунических знаков. В известной мере это объясняется тем, что многие енисейские и орхонские надписи воспроизводились (эстампажи, прориси и т. п.) еще до расшифровки рунического алфавита. При последующих переизданиях в чтение отдельных текстов вносились уточнения, однако полная ревизия прочтений и переводов на основе тщательного анализа памятников, придирчивой проверки каждого знака на них до сих пор не производилась. Подготовка корпуса рунических надписей, учитывающего достижения в этой области и являющегося исчерпывающим сводом всех известных на сегодняшний день текстов, исполненных орхоно-енисейским письмом, остается одной из актуальных проблем современной тюркологии. Советские ученые располагают всеми возможностями для ее решения. Поэтому можно надеяться, что задача, поставленная в резолюции VI Тюркологической конференции в Ленинграде (1973 г.) — «приступить к подготовке свода древнетюркской эпиграфики»⁴², будет выполнена в ближайшие годы.

В последнее время произошли заметные сдвиги в деле освоения богатейшей коллекции древнеуйгурских памятников, хранящейся в рукописном отделе Ленинградского отделения Института востоковедения Академии наук СССР⁴³. Обработку уйгурского фонда и подготовку к печати древнеуйгурских текстов различного содержания осуществляет в основном Л. Ю. Тугушева, уже опубликовавшая ряд текстов⁴⁴. Ею сделана выборка из фонда фрагментов, относящихся к уйгурскому пе-

реводу биографии Сюань-Цзана, и подготовлена на этой основе книга (около 10 а. л.), включающая сводный текст с переводом и комментариями. Следует отметить, что эти публикации подготавливаются по единому плану: в них, как правило, приводится фотокопия рукописи, даются транскрипция текста, его перевод, комментарии к тексту, глоссарий с точной фиксацией каждого случая словоупотребления, а зачастую и индекс морфологических показателей. Несомненно, что такая детальная обработка издаваемого текста, соответствующая современному уровню публикации письменных памятников⁴⁵, облегчает его использование как лингвистами, так и другими специалистами.

Совершенно очевидно, что вновь поступающий языковой материал требует лингвистического анализа. Вместе с тем существуют и общие актуальные задачи исследования всех известных древнетюркских памятников. Одной из них является разработка основ рунической и древнетюркской палеографии, всестороннее изучение графических систем, в частности таких вопросов, как «эволюция графики, относительная и абсолютная датировка памятников на ее основе, отражение в графике звуковой стороны языка и проблема соотношения графема — фонема — вариант фонемы»⁴⁶; сюда же примыкают вопросы возникновения и формирования ранних тюркских алфавитов, приемов адаптации их прототипов применительно к тюркским языкам.

Отрадно отметить, что и советские тюркологи в последние годы стали вплотную заниматься этими проблемами. Здесь хотелось бы выделить содержательную статью И. В. Кормушина «К основным понятиям тюркской рунической палеографии»⁴⁷, представляющую собой одну из первых не только в отечественной, но и в мировой тюркологии попыток подойти к рунической графике с позиций современной палеографии. Основное внимание автор статьи уделил выяснению типологии знаков рунического алфавита, их графемологическому анализу, установлению изменчивости графических элементов букв в зависимости от времени и места применения алфавита и квалификации подобных изменений в качестве датирующих графических примет. Одновременно И. В. Кормушиным затрагиваются и вопросы отражения звуковой стороны тюркского языка в руническом алфавите, в особенности — гласных, вокалической системы языка, употреблявшего алфавит — прообраз тюркского рунического письма, принципов передачи орхоно-енисейского письма в транскрипции и транслитерации (здесь наиболее рациональна интерпретирующая транслитерация, т. е. транслитерация с частичной фонематической интерпретацией). Автор выделяет одиннадцать ведущих, глобальных датирующих примет орхоно-енисейского письма в начертаниях

знаков для t^1 , s^1 , $\ddot{u}k$ (руна ) , b^2 , r^1 , $\ddot{u}$ (руна ) , q , t^2 , n^2 , z , m , позволяющих в совокупности с вспомогательными, дополнительными приметами и локальными вариациями графем отнести каждый недатированный памятник к одному из трех периодов: 1) первая половина VIII в.; 2) вторая половина VIII — первая треть IX в.; 3) не старше второй половины IX в. Палеографический анализ енисейских памятников позволил исследователю сделать вывод, что все они без исключения написаны позже первой трети или даже первой половины IX в. Это положение И. В. Кормушина хорошо согласуется с гипотезой Л. Р. Кызласова о более позднем, нежели до последнего времени считалось, времени появления енисейских памятников.

Большая работа по изучению графической системы орхоно-енисейских памятников проводится А. С. Аманжоловым. Тюркский рунический алфавит, имеющий длительную историю развития, в целом достаточно

рационально репрезентировал звуковую систему древнетюркского языка, однако интерпретация ряда фонем, обозначаемых руническими знаками (особенно локальными вариантами последних), представляется до сих пор неоднозначной и спорной. А. С. Аманжолов еще раз обратился к установлению системы употребления знаков для обозначения гласных и согласных фонем и их оттенков в языке орхонских, енисейских и таласских текстов⁴⁸. Он рассмотрел звуковую систему (8 гласных и 16 согласных фонем) и способы отображения фонем на письме с помощью знаков (в орхонских памятниках 35 фонограмм или букв и 4 знака для сочетаний согласных звуков), составил уточненный список рунических знаков в их разнообразных графических вариантах по трем локальным группам памятников (2 таблицы), а также предложил уточнения звукового содержания ряда рунических знаков. Реальными звуками, пере-

даваемыми рунами ᠳ и ᠬ , были, по мнению автора, $d \sim \delta \sim t$

($d' \sim \delta' \sim t'$), выступавшие как произносительные варианты фонемы d . Особое внимание автор уделяет фонетическому толкованию знаков

ᠶ , ᠬᠡ , ᠵ .⁴⁹ Для первого знака он предполагает собственное значение $i, \bar{i}$;

следовательно, по его мнению, звук e (закрытое e) в енисейских текстах

не имел специального обозначения. Знак ᠬᠡ А. С. Аманжолов читает

как gt в словах ^art 'перевал', $q^a\text{rt}$ 'рана, язва'. Поскольку в ряде енисейских текстов знак ᠵ представляет собой графический вариант для $p\check{s}$, автор допускает возможность (привлекая орхонский знак для $\tilde{j}$) существования орхоно-енисейского чередования $\tilde{j} \sim p\check{s}$ как «древнейшего фонетического явления диалектного характера». Этимологизируя на этой основе имя Тоньюкук, он возводит его к глаголу $*tun\check{s}u-+-q-$ (показатель интенсива) 'печалиться, хмуриться' и видит здесь отглагольное прилагательное 'печальный, опечаленный'.

Занятия рунической графикой выдвинули перед автором проблему возникновения орхоно-енисейского письма⁵⁰. А. С. Аманжолов, отмечая несомненные генетические связи этого алфавита с древними письменностями Средиземноморья (финикийской, карийской, ликийской, древнегреческой, итальянской и др.), считает, однако, что тюркский рунический алфавит не восходит непосредственно к ним, а к некоему общему древнейшему источнику алфавитных письменностей, каким могло быть какое-то раннее (и пока неизвестное) логографическое (идеографическое) или алфавитное письмо III—II тысячелетия до н. э. Исходя из данных руноподобных памятников, обнаруженных в последнее время казахскими археологами (см. выше)⁵¹, А. С. Аманжолов склоняется к мнению, что «тюркоязычные племена пользовались этим алфавитным письмом (руническим. — Д. Н.) с середины I тысячелетия до н. э. вплоть до конца I тысячелетия н. э.»⁵². В связи с этим автор пересматривает в этих широких рамках хронологию ряда недатированных памятников: так, он предполагает, что таласские памятники могут охватывать отрезок времени со II в. до н. э. по VII в. н. э., а отдельные енисейские памятники

могут относиться к скифскому времени (возможно, начиная с VII в. до н. э.). Эта гипотеза о столь древнем происхождении части таласских и енисейских памятников, а также рунического письма существенно расходится с традиционными положениями тюркской рунологии (ср. точки зрения В. В. Радлова, С. Е. Малова, И. А. Батманова, Л. Р. Кызласова, Дж. Клосо́на и др.) по этим вопросам. Гипотеза А. С. Аманжолова пока еще не получила широкого признания у специалистов.

Проблеме формирования рунического алфавита посвящена также статья А. Махмутова⁵³. Автор считает, что этот алфавит был создан самими древними тюрками, которые образовали его знаки «от разных рисунков, то есть пиктографических знаков», видимо, «еще во времена племенных союзов усуней и кангюй, то есть далеко до нашей эры»⁵⁴. В качестве доказательства этих положений автор сопоставляет звуковое значение руны с казахским звучанием названия какой-либо реалии, поскольку последний звук слова (иногда почему-то и первый?) якобы

определял содержание руны, например, $\downarrow, \Upsilon$ (л) восходят к назва-

нию 'крючков для вешалки', по-тюркски *ilgek* от *il-* 'повесить'; знаки

для и $\downarrow, \Upsilon, \exists$ «напоминают разнovidные изображения нор (*in*)» и

т. п. Такого же характера объяснение получили и знаки: б, й, л, к, г, р, г, нт, о, у, с, т, а и др. Произвольный характер и необоснованность подобного метода очевидны, хотя в целом давнюю идею об элементах пиктографичности в тюркском руническом письме полностью отвергать не следует, по крайней мере до того времени, пока не получат достаточно удовлетворительного объяснения все прототипы рунических знаков. В связи с этим следует указать на недавнюю попытку Дж. Клосо́на соотнести рунические знаки для согласных в словах твердоядных со знаками согдийского и пехлевийского алфавитов, а знаки для согласных в словах мягкорядных — с буквами греческого алфавита, хотя и в таком случае часть рунических знаков не находит соответствий и может считаться «изобретенной»⁵⁵.

Одной из существенных проблем рунологии является определение места языка рунических надписей среди языков, отраженных в других письменных памятниках, а также по отношению к современным языкам. К сожалению, в отечественной тюркологии по сей день не изжито глубоко ошибочное отождествление языка орхоно-енисейских памятников VII—XI вв. с пратюркским языковым состоянием. Уже первые интерпретаторы рунических текстов считали, что язык упомянутых памятников репрезентирует лишь один из этапов исторического развития тюркских языков, имевших и до орхонского периода длительную историю. Вполне допустимо предположить, что в указанный период наряду с орхоно-енисейскими существовали в обширном регионе и многие другие тюркские языки и диалекты, возможно, даже литературные или с развитой эпической традицией. Такая точка зрения высказана, например, уже в работе А. Н. Самойловича (1918 г.), опубликованной недавно⁵⁶. В последние годы ведущие советские тюркологи неоднократно обращали внимание на недопустимость упрощения общетюркских, пратюркских построений. И. А. Батманов отмечал, что «тюркская речь сложилась до возникновения орхоно-енисейской письменности»⁵⁷ на базе многих близких между собой древнетюркских диалектов и говоров.

Ошибочно также усматривать в языке орхоно-енисейских памятников абсолютно архаичный тип языка: ряд явлений в нем оценивается теперь как инновация. «Орхонские и енисейские надписи, если не считать известной системы счисления..., в корнях числительных содержат материал более новый, чем, скажем, в некоторых частях чувашский язык или джушский говор узбекского языка»⁵⁸.

На фоне этих замечаний, а также с учетом аксиоматических положений сравнительно-исторических штудий о понимании праязыкового состояния и о возможности его реконструкций странным анахронизмом выглядят встречающиеся в некоторых новейших тюркологических работах высказывания типа: «Окончательная расшифровка орхоно-енисейских памятников датским ученым В. Томсеном в конце XIX века (1893 г.) показала, что язык обелисков с некрологами можно считать пратюркским, однако следует особо отметить, что от чувашского языка он отличается такими же фонетическими и морфологическими особенностями, как и остальные современные тюркские языки»⁵⁹.

Столь же основательны и возражения против прямых, непосредственных сопоставлений языка древнетюркских памятников с современными языками, все еще встречающихся в отдельных тюркологических работах, хотя против этого протестовал Э. В. Севортян еще в 1959 г.⁶⁰. В заключение сошлемся на слова Э. Р. Тенишева: «Не следует преувеличивать значения древнетюркских письменных памятников. Они могут быть использованы в сравнительно-исторических исследованиях лишь как материал наряду с другими источниками»⁶¹.

С точки зрения И. А. Батманова, «современные тюркские языки являются потомками видоизменившихся и впитавших ряд новых элементов древних тюркских диалектов»⁶². Поэтому он считал возможным проследить, с одной стороны, диалектные различия в языке памятников (прежде всего енисейских и таласских) и, с другой — сопоставить их с судьбой аналогичных явлений в современных языках, исторически наиболее связанных с древнетюркским ареалом: в тувинском, шорском, хакасском и отчасти якутском. На основе анализа вариативности написания слов в памятниках И. А. Батманов выделил десять изоглосс, различно сочетающихся в текстах, что дало ему основание сделать вывод о наличии двух «явно выраженных наречий: *э* и *и*», а также заключить, что «в орхоно-енисейский период существовали еще племенные, а не территориальные диалекты»⁶³. Как известно, положение И. А. Батманова о существовании двух орхоно-енисейских диалектов оспаривается некоторыми тюркологами⁶⁴.

В духе идей И. А. Батманова выполнено исследование К. Аширалиева о древнетюркских элементах в современных языках⁶⁵, в котором прослеживается отражение в разных ярусах современных языков отдельных явлений фонетики, лексики и морфологии, зафиксированных в рунических памятниках. Как указывает автор, в языках пяти классификационных групп (туркменском, узбекском, уйгурском, тувинском, хакасском, киргизском, алтайском, казахском и каракалпакском) отмечается сходство с языком рунических памятников в слоговой структуре слова, в функционировании основных грамматических категорий, а также сохранение большей части древней лексики.

А. Курышжановым рассматриваются некоторые закономерные явления в языке древнетюркских, а также ряда средневековых памятников в основном в области фонетики (чередования *ч/ш*, *ш/с*, *й/ж*, *б/м*, *ғ/ъ*, *и*, *е*) и аналогичные процессы в современном казахском языке⁶⁶. На факты сохранения в казахских топонимах древнего чередования *ч/ш* указывает В. Қойчубаев⁶⁷. Наконец, сопоставления фонетических и грамматических

фактов древнетюркских языков с современными языками проводятся в многочисленных исследованиях по исторической фонетике и грамматике тюркских языков, появившихся за последние годы⁶⁸.

Сравнив грамматические особенности орхоно-енисейских и древнеуйгурских памятников, В. Г. Кондратьев пришел к выводу, что при незначительной вариативности «в обеих группах памятников нашел отражение единый язык, бытовавший на территории Центральной Азии в течение нескольких столетий»⁶⁹, для обозначения которого можно использовать термин «древнеогузский язык».

На существование у тюрков весьма длительной литературной традиции, нашедшей отражение уже в орхоно-енисейских памятниках, указывают Э. Р. Тенишев и А. М. Щербак, исходящие из сравнения морфологических и фонетических черт древнеуйгурского языка и языка «Кутадгу билиг»⁷⁰. Художественный литературный язык, бытовавший в период орхоно-енисейских памятников, видимо, отделился от народно-разговорного языка и уже тогда выглядел искусственным. Позже такой традиции придерживались многие тюркоязычные народы, пришедшие на смену орхонским тюркам, — древние уйгуры и киргизы, затем тюрки Караханидского государства и Средней Азии. А. М. Щербак указывает, что «письменная традиция, существовавшая на берегах Орхона, в Турфане и Кашгаре в период с VIII в. по XI в., была традицией одного тюркского языка или одной группы тюркских языков»⁷¹. Оба упомянутых автора подчеркивают вытекающий из сказанного вывод о том, что использование памятников этих эпох для воссоздания истории конкретных тюркских языков требует большой осторожности.

А. Т. Кайдаров, не рассматривая современный уйгурский язык как результат прямого развития древнеуйгурского языка V—X вв., предпочитает называть их связь «преемственной», ибо в современном уйгурском языке сохранилось больше элементов языка древних уйгуров, нежели в иных тюркских языках⁷². А. Т. Кайдаров касается также проблем языковой преемственности в караханидский и послекараханидский периоды развития литературных языков Восточного Туркестана и Средней Азии и роли древнеуйгурской языковой традиции в это время⁷³.

Нашими учеными было опубликовано несколько целостных описаний языка орхоно-енисейских памятников различной полноты. Сжатое систематическое изложение фонетики, морфологии и синтаксиса этих древнейших памятников содержится в очерке, написанном В. Г. Кондратьевым⁷⁴. Рассматривая различные грамматические показатели, автор стремится сопоставить их не только в общетюркском плане (особенно часто с аналогичными явлениями в древнеуйгурских текстах), но и в плане общеалтаистическом, опираясь при этом на этимологии Г. Рамстедта, В. Котвича и других исследователей и определяя собственное отношение к ним. В. Г. Кондратьев на основании сравнения фонетических и морфологических особенностей орхонских памятников выделяет два диалекта единого древнеогузского языка — собственно тюркский (Кошо-Цайдамские памятники) и уйгурский (Тоньюкук, Моюн-чур и, возможно, Онгинский и Кули-чур). Он также подчеркивает близость языка памятников с огузскими языками и с якутским.

Книга Г. Айдарова об орхонских памятниках⁷⁵ включает разделы по фонетике, лексике⁷⁶, морфологии, синтаксису, а также репродуцирование рунических текстов из хрестоматии С. Е. Малова, их транскрипцию и перевод. К сожалению, автор опирается только на указанное издание С. Е. Малова и не учитывает многочисленные последующие поправки к текстам, а также достижения современной тюркологии в области разработки общей, в том числе и древнетюркской, грамматики и лексикологии,

хотя в книге и приведена солидная библиография⁷⁷. В результате Г. Айдарову не удалось избежать многих неточностей, а то и просто ошибок в интерпретации лексики и в характеристике грамматических явлений.

Описание языковых особенностей памятников древнетюркской письменности дано также и в ряде брошюр, изданных в качестве учебных пособий для студентов филологических факультетов университетов и педагогических институтов. Всех их объединяет сравнительно-сопоставительный характер изложения материала: факты из языка древнетюркских памятников сопоставляются с явлениями родного языка студентов. Н. К. Антонов в своей книге⁷⁸ излагает краткую историю изучения памятников рунической письменности, останавливается на языковых особенностях, дает историческую характеристику эпохи. В переводе на якутский язык приводятся памятники в честь Кюль-Тегина и Тоньюкука и некоторые енисейские тексты. В брошюре М. Р. Федотова⁷⁹ много места отводится сопоставительной характеристике древнетюркской и чувашской лексики (на примере 350 лексем), а также фонетике; морфологическим явлениям автором уделяется меньше внимания, и совсем кратко излагаются им синтаксические особенности.

В учебном пособии по древнетюркской письменности, написанном казахскими тюркологами⁸⁰, специальные разделы посвящены памятникам рунического письма и древнеуйгурским. Авторами характеризуется графика, приводятся слова в оригинальном написании и небольшие образцы текстов, излагаются основные фонетические, морфологические и синтаксические явления в сравнении с современным казахским и другими тюркскими языками. Здесь также следует отметить наличие неточностей в характеристике языковых особенностей древнетюркских памятников, опечаток в оригинальных текстах и других погрешностей, нежелательных в вузовском пособии.

В целом создание учебных пособий⁸¹, активно используемых при изучении истории конкретных тюркских языков, составление специальных программ⁸² или расширение и уточнение соответствующих разделов уже существующих программ по истории, несомненно, содействует углубленной подготовке специалистов-тюркологов, способных заниматься исторической грамматикой тюркских языков и сравнительно-историческими исследованиями на уровне современных требований.

Следует отметить, что за последние годы значительно возросло также число публикаций, посвященных рассмотрению многих аспектов описания языка древнетюркских памятников.

Общая характеристика древнетюркской ономастики содержится в статье Т. Жанузакова⁸³. Трактовку имен собственных в Онгинском памятнике попытался дать А. А. Раджабов, стремясь выяснить, какому лицу посвящен текст, и уточнить год поставки стелы⁸⁴. По его мнению, памятник относится к 689 г. или 692 г. и был поставлен одним из сподвижников первого кагана Второго тюркского каганата в честь своего отца и старшего брата. В статье также предпринята попытка дать толкование слову *капаган*, для которого предлагается значение «завоеватель, приобретающий». Толкованию понятия *jer sub* посвящена статья М. А. Сейидова⁸⁵, где сделан вывод, что в этом термине заключено мифологическое понятие родины.

Весьма полезны глоссарии, составленные киргизскими тюркологами⁸⁶, где сводится вместе лексика (1680 лексем) основных орхонских и большинства енисейских и таласских памятников. Авторами даются древнетюркско-русский глоссарий с транслитерацией тюркских слов, указатель слов в руническом написании, далее приводятся транскрипции древнетюркских корневых слов и русско-древнетюркский глоссарий.

Сводка 160 аффиксов, встречающихся в енисейских и орхонских памятниках, завершает это интересное справочное пособие⁸⁷.

В ряде работ рассматриваются вопросы словообразования и связанные с ним явления в древнетюркских языках. Причем на материале как группы памятников, так и всех их в совокупности описываются либо вся структура словообразующих средств в целом, либо отдельные ее разделы⁸⁸. Очень часто для сопоставления привлекаются современные тюркские языки, и тогда авторы регистрируют семантическое и функциональное соотношение словообразующих формантов в языках различных хронологических срезов.

Попытку фонологической интерпретации фонемного состава языка орхоно-енисейских надписей предпринял И. Н. Кобешавидзе⁸⁹. Касаясь характеристики рунического алфавита, он отметил, что этот алфавит построен на морфонологической, а не фонологической основе и отражает скорее систему частных дифференциальных признаков, нежели самих фонемных единиц. Такой морфонологический принцип построения алфавита облегчает целостное зрительное восприятие слова как единого, гармонически настроенного звукокомплекса. По мнению автора, система гласных в памятниках имела не классическую геометрически кубическую форму, а усеченную, ибо фонема [i] выступала в качестве комбинаторного варианта [i]; в сфере согласных выделяются 16 фонем, среди которых только в группе взрывных и у щелевых [s] и [z] наблюдается «довольно симметричное противопоставление по глухости — звонкости».

С последним утверждением И. Н. Кобешавидзе и ряда других авторов не соглашается Э. Р. Тенишев⁹⁰. Основываясь на особенностях дистрибуции смычных согласных в языке памятников, имеющей аналогию в современном саларском и сарыг-йугурском языках, он считает более вероятным предположить существование и в орхоно-енисейском языке противопоставления в системе смычных «по признаку слабый — сильный, точнее — слабый глухой — сильный глухой с придыханием». Высказывается также предположение, что такая система обуславливалась наличием тюрко-китайского двуязычия, в силу которого она и не оказалась «полностью усвоенной языком орхоно-енисейских памятников», а выступала лишь как определенная тенденция.

Отражением этой же тенденции является, по мнению Э. Р. Тенишева, и наблюдающийся в рунической письменности перебой s/š, произвольные, не ограниченные какими-либо позиционными или фонетическими условиями колебания в написании s и š⁹¹. Видимо, в китайском диалекте, оказавшем влияние на язык древних тюрков, не было различия s и š, и благодаря тюрко-китайскому двуязычию это явление нашло отражение в текстах рунических памятников.

А. С. Аманжолов же подобное колебание в древнетюркских письменных памятниках, включая и древнеуйгурские, рассматривает как отражение влияния на письменную традицию живой разговорной речи, где соответствие s/š, очевидно, восходило к общетюркскому языковому состоянию⁹².

Статистическое обследование распределения широких и узких гласных в основах и в аффиксах на двух исторических срезах тюркских языков — древнетюркских текстах и современном казахском языке — показало сходную частотность, что позволило выдвинуть гипотезу о «пассивном характере» процессов фонетических изменений в тюркских языках⁹³.

Комплексное описание категории глагола в языке орхоно-енисейских памятников было предпринято в диссертации М. А. Ахметова, в которой учитываются все корневые и производные глаголы, а также все аффиксы глагольного словообразования и словоизменения⁹⁴. Одной из популяр-

ных глагольных тем является исследуемая в разных аспектах категорий деепричастий, многократно представленная на всех этапах описания древнетюркских языков. Здесь можно назвать специальные статьи: М. А. Ахметова⁹⁵ и А. Кулиева⁹⁶, обратившихся к деепричастиям в данном случае в сопоставительном плане. Рассматривая статус формы на -sar в языке рунических надписей, И. Н. Кобешавидзе установил, что значение условности в ней еще не являлось главным, а находилось в начальной фазе своего формирования, поэтому, возможно, несколько сомнителен и факт наличия в языке специального условного наклонения⁹⁷. П. И. Кузнецов продолжил свои исследования в области всестороннего анализа семантики и функций одной из древнейших и многозначных форм тюркского глагола — формы на -duk. Развивая гипотезу о вербально-финитном характере этой формы, он предпринял попытку истолкования конструкций -duk ücün ~ dukup ücün как сказуемых придаточных предложений⁹⁸. Обзор всех причастных форм и их функций представлен в статье А. Кулиева⁹⁹.

С глагольной тематикой связана также и монография А. С. Аманжолова, где рассматривается управление древнетюркского глагола в связи с некоторыми аспектами его словообразования¹⁰⁰. Поднятые в книге важные вопросы исторического синтаксиса тюркских языков разрабатываются на материале как орхоно-енисейских, так и древнеуйгурских памятников. Автор описывает особенности управления прямо- и косвеннопереходных глаголов (корневых и производных), а также изменений управления глаголов при залогообразовании. Содержательная монография А. С. Аманжолова представляет собой один из первых опытов углубленного исследования синтаксической связи компонентов объектного словосочетания в древнетюркских языках¹⁰¹.

Самый малоупотребительный в рунических надписях взаимный залог глагола рассматривается в статье А. А. Раджабова, в которой много места отводится автором также изложению известных мнений тюркологов об этой категории и гипотез о происхождении форманта -š¹⁰². В другой статье А. А. Раджабова анализируются в этом же плане формы страдательного залога, который автор противопоставляет безличному, образуемому от непереходных глаголов. В памятниках показателями страдательного залога выступают аффиксы -л и -н, причем последний, по мнению автора, <-л¹⁰³. Коснулся А. Раджабов и вопроса о перифрастических формах глагола, хотя в орхоно-енисейских текстах им отмечена всего одна форма, которая, кстати, может толковаться и как неперифрастическая (ср.: *körür köbüm körmäs täk... болты. — Ктб. 50 'зрячие очи мои словно ослепли')*¹⁰⁴.

В публикациях меньше места уделяется именным частям речи в языке древнетюркских памятников. Некоторые выводы из сравнения указательных и вопросительных местоимений в рунических памятниках с современными казахскими в связи с их этимологиями сделаны в статье А. Есенгулова¹⁰⁵. Б. Осмоналиевой рассматриваются только вопросительные местоимения, причем автор привлекает для сопоставления, кроме киргизского, и другие алтайские языки, разбирает этимологии, оценивает их вероятность и применимость к местоимениям киргизского языка¹⁰⁶.

Служебные части речи в орхоно-енисейских памятниках анализируются в статьях Г. Айдарова¹⁰⁷ и А. Раджабова¹⁰⁸.

В настоящей статье не представляется возможным рассмотреть во всех деталях работы, специально посвященные описанию тех или иных сторон языка древнетюркских памятников; вне поля зрения остались также и многочисленные публикации, где древнетюркские языки не являются основной темой исследования: это разработки по истории кон-

кретных тюркских языков, тюркской сравнительно-исторической грамматике и лексикологии, алтаистике, изучению заимствований из тюркских языков, этимологии и т. п. Это, наконец, труды литературоведов, занимающихся историей тюркской литературы, фольклористикой, поэтикой, а также специалистов по тюркской истории, этнографии, археологии. Растущее год от года число публикаций по древнетюркским памятникам, и не только в нашей стране, но и за рубежом, делает актуальным создание специального библиографического справочника по всему комплексу проблем, связанных с изучением этих памятников. Ведь со времени составления последней библиографической сводки, охватывающей дореволюционную литературу¹⁰⁹, прошло более семидесяти лет, и за этот период накоплено огромное количество публикаций по данной теме, часть из которых остается малоизвестной даже специалистам, не говоря уже о широких кругах тюркологов¹¹⁰.

В настоящее время в публикациях наших тюркологов широко разрабатываются вопросы языка памятников орхон-енисейской письменности, язык же древнеуйгурских обширных текстов исследуется менее интенсивно. Ограниченный объем рунических текстов является причиной того, что темы исследований повторяются, в них постоянно используются одни и те же примеры (напомним, что в этих текстах всего лишь около 1700 лексем, из них — 182 глагольных корня, 160 различных аффиксов, около 870 употреблений времени на *-ды*, 130 — на *-мыш*, 35 — на *-ур* и т. п.). Видимо, настало время отказаться от многократного дублирования (часто неоригинального!) описаний ограниченного языкового материала и бесперспективного его сопоставления с современными языками, а все внимание сосредоточить на узловых вопросах изучения древнетюркских языков в связи с подготовкой сравнительно-исторической грамматики тюркских языков.

¹ «Тюркологический сборник 1970». М., 1970.

² Библиографическую справку см.: А. Н. Кононов. Некоторые итоги развития советской тюркологии и задачи Советского Комитета тюркологов. — «Советская тюркология», 1974, № 2, стр. 11, прим. 16. См. также: Ш. Шукуров. Наклонения и времена глагола в письменных памятниках узбекского языка в сравнительном освещении. Автореф. докт. дисс. Ташкент, 1974; В. Асланов. Историческая лексикология азербайджанского языка (проблема реконструкции). Автореф. докт. дисс. Баку, 1973.

³ П. М. Мелиоранский. Араб-филолог о турецком языке. СПб., 1900, стр. II.

⁴ А. Н. Кононов. Некоторые итоги развития советской тюркологии..., стр. 6.

⁵ См.: С. Г. Кляшторный. Древнетюркская руническая эпиграфика: итоги и перспективы изучения. — [ПП и ПИКНВ] VI годичная научная сессия ЛО ИВ АН. М., 1970, стр. 83—85; В. Г. Кондратьев. К восьмидесятилетию дешифровки тюркской рунической письменности. — «Советская тюркология», 1974, № 1, стр. 58—62.

⁶ См.: А. Д. Грач. Новые данные о древней истории Тувы. — «Ученые записки ТувНИИЯЛИ», вып. XV, 1971, стр. 102.

⁷ См.: И. А. Батманов, А. Ч. Кунаа. Памятники древнетюркской письменности Тувы, вып. III. Кызыл, 1965, стр. 5—6, 9—18.

⁸ С. Г. Кляшторный. Темирсугская руническая надпись. — [ПП и ПИКНВ] VII годичная научная сессия ЛО ИВ АН. М., 1971, стр. 19—21; С. Г. Кляшторный, И. У. Самбу. Новая руническая надпись в Улуг-Хемском районе. — «Ученые записки ТувНИИЯЛИ», вып. XV, 1971, стр. 245—249. В публикациях представлены фотография, прорис, транскрипция, перевод надписи, а также комментарий.

⁹ С. Г. Кляшторный, Д. Д. Васильев. Эпиграфические исследования на верхнем Енисее. — «Археологические открытия 1973 г.». М., 1974, стр. 208; см. также: С. Г. Кляшторный. Руническая эпиграфика в Саянском каньоне Енисея. — «Тезисы докладов на секциях, посвященных итогам полевых исследований 1971 г.». М., 1972, стр. 400;

С. Г. Кляшторный, Я. А. Шер. Петроглифы и эпиграфика в Саянском каньоне Енисея. — «Археологические открытия 1971 г.», М., 1972, стр. 242—243.

¹⁰ См.: С. Г. Кляшторный. Рунические надписи Хемчикбоома. — [ПП и ПИКНВ] VIII годичная научная сессия ЛО ИВ АН. М., 1972, стр. 27—29; *его же*. Рунические надписи Саянского каньона Енисея. — «Ученые записки ТувНИИЯЛИ», вып. XVI, 1973, стр. 228—231. Публикации содержат фотографии, прорисы, транскрипцию, перевод и толкование надписей.

¹¹ См.: С. Г. Кляшторный. Руническая эпиграфика в Саянском каньоне Енисея, стр. 400; Я. А. Шер. Петроглифы верхнего Енисея. — «Тезисы докладов на секциях, посвященных итогам полевых исследований 1971 г.», стр. 376—377; Д. Д. Васильев. Исследования в Саянском каньоне. — «Археологические открытия 1974 г.», М., 1975, стр. 192.

¹² См.: С. Г. Кляшторный. Эпиграфические работы Саяно-Тувинской экспедиции. — «Археологические открытия 1971 г.», М., 1972, стр. 218.

¹³ Д. Д. Васильев, С. Г. Кляшторный. Руническая надпись Йир-Сайыр. — «Советская тюркология», 1973, № 2, стр. 105—110. В статье даются фотографии, прорисы и опыт чтения.

¹⁴ «Древние письмена Хакасии», вып. I. Составители: О. В. Субракова, И. А. Батманов. Абакан, 1970.

¹⁵ С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. М.—Л., 1952.

¹⁶ См.: Д. М. Насилов. Некоторые замечания к прочтению енисейских памятников. — «Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования», 1971. М., 1974, стр. 204—214; *его же*. Из поправок к прочтению енисейских памятников. — «Средневековый Восток. История, культура, источниковедение» (в печати); А. Аманжолов. Уточненные енисейские надписи. — В кн.: «Қазақ тілі мен әдебиеті», вып. 5. Алма-Ата, 1974, стр. 100—104 (уточнение чтения и перевода шести енисейских надписей — Е 2, Е 49, Е 50, Е 51, Е 53, Е 69; воспроизведены прорисы, имеются транслитерация, перевод и краткие комментарии).

¹⁷ В. Я. Буганов. Новая Уйбатская сабра (VI памятник енисейской письменности с Уйбата). — «Ученые записки ХакНИИЯЛИ», вып. XVIII, серия филологическая, № 2, 1973, стр. 149—152. Имеются прорисы, транслитерация, транскрипция и переводы.

¹⁸ См.: С. Г. Кляшторный. Эпиграфические работы Саяно-Тувинской экспедиции, стр. 218; М. А. Дзелег, Н. В. Панова, М. Н. Спилюти. Работы по обследованию наскальных рисунков Тувы. — «Археологические открытия 1973 г.», М., 1974, стр. 202—203.

¹⁹ Е. И. Убрятова. Древнетюркская руническая надпись из Бичикту-Бома. — В кн.: «Бронзовый и железный век Сибири». Новосибирск, 1974, стр. 156 и далее.

²⁰ К. Сейдакматов. Древнетюркские надписи в Горном Алтае. — В кн.: «Материалы по общей тюркологии и дунгановедению». Фрунзе, 1964, стр. 96—101; Э. Р. Тенишев. Древнетюркская эпиграфика Алтая. — «Тюркологический сборник. К 60-летию А. Н. Кононова». М., 1966, стр. 265; Н. А. Баскаков. Три рунические надписи из Мендур-Соккон Горно-Алтайской автономной области. — «Советская этнография», 1966, № 6, стр. 79—83.

²¹ В. М. Наделеев. Древнетюркская руническая надпись из Кош-Агача. — «Известия СО АН СССР», № 1 (211), вып. I, 1973, стр. 108—110. В публикации имеются прорисы, чтение и толкование надписи.

²² Одна из согдийских надписей, Бугутская, — уникальный памятник времен Первого тюркского каганата, датируется между 572—581 гг. и имеет важное историческое значение; см.: В. А. Лившиц, С. Г. Кляшторный. Новая согдийская надпись из Монголии, предварительное сообщение. — [ПП и ПИКНВ] V годичная научная сессия ЛО ИВ АН. Л., 1969, стр. 51—54; *их же*. Согдийская надпись из Бугута. — «Страны и народы Востока», X. М., 1971, стр. 121—146.

²³ С. Г. Кляшторный. Древнетюркская письменность и культура народов Центральной Азии (по материалам полевых исследований в Монголии, 1968—1969 гг.). — «Тюркологический сборник 1972». М., 1973, стр. 262.

²⁴ См.: С. Г. Кляшторный. Древнетюркская письменность и культура народов Центральной Азии, стр. 260—263.

²⁵ См.: С. Е. Малов. Новые памятники с турецкими рунами. — «Язык и мышление», тт. VI—VII. Л., 1936, стр. 251—259.

²⁶ С. Г. Кляшторный. Руническая надпись на каменном изваянии из Чойрэна. — [ПП и ПИКНВ] V годичная научная сессия ЛО ИВ АН. Л., 1969, стр. 46—47; *его же*. Руническая надпись из Восточной Гоби. — «Studia Turcica». Budapest, 1971, стр. 249—258; *его же*. Древнетюркская письменность и культура народов Центральной Азии, стр. 262.

²⁷ С. Г. Кляшторный. Руническая надпись из Восточной Гоби, стр. 256—257.

²⁸ С. Г. Кляшторный, В. А. Лившиц. Тюрко-согдийский памятник из Южной Гоби. — [ПП и ПИКНВ] VII годичная научная сессия ЛО ИВ АН. М., 1971, стр. 58—60; *их же*. Сэврэйский камень. — «Советская тюркология», 1971, № 3, стр. 106—112; *их же*. Уне

inscription inédite turque et sogdienne la stèle de Sevrey (Gobi Méridional). — JA, v. CCLIX, 1972, стр. 11—20.

²⁹ В. М. Наделяев. Древнетюркская надпись из Ховд-сомона МНР. — В кн.: «Бронзовый и железный век Сибири», стр. 163—166 (прорись, транслитерация, транскрипция, лексико-грамматический комментарий и перевод).

³⁰ И. А. Батманов. Таласские памятники древнетюркской письменности. Фрунзе, 1971.

³¹ И. А. Батманов. Таласские памятники древнетюркской письменности, стр. 60—61.

³² См.: А. М. Щербак. О рунической письменности в юго-восточной Европе. — «Советская тюркология», 1971, № 4, стр. 76—82; С. Байчоров. Надписи Хумаринского городища. — «Советская тюркология», 1974, № 4, стр. 89—93 (фотографии, прориси и чтение двух надписей).

³³ А. М. Щербак. О рунической письменности в юго-восточной Европе, стр. 78—81; см. также: J. Németh. The Runiform Inscriptions from Nagy-Szent-Miklós and the Runiform Scripts of Eastern Europe. — ALH, t. XXI, fasc. 1—2, 1971, стр. 1—52. Ср. также попытку Г. Ф. Турчанинова прочитать известную таласскую деревянную палочку по-алански (Г. Ф. Турчанинов. Памятники письма и языка народов Кавказа и Восточной Европы. Л., 1971, стр. 89—96).

³⁴ М. А. Хабичев. О древнетюркских рунических надписях в аланских катакомбах. — «Советская тюркология», 1970, № 2, стр. 64—69 (даются фотографии, прориси, варианты чтения и перевода).

³⁵ М. А. Хабичев. О древнетюркских рунических надписях в аланских катакомбах, стр. 65—69.

³⁶ Э. [Р] Тенишев. Камень с рунической надписью из Юрьева. — «Лингвистический сборник». Ташкент, 1971, стр. 21—23 (фотография, транскрипция, перевод и лингвистический комментарий).

³⁷ См.: О. И. Смирнова. Рунические монограммы на среднеазиатских монетах. — [ПП и ПИКНВ] VII годичная научная сессия ЛО ИВ АН. М., 1971, стр. 74—78; А. С. Аманжолов. Две енисейские рунические надписи. — «Ученые записки ХАКИИЯЛИ», вып. XIX, серия историческая, 1974, № 5, стр. 137—140 (надпись на китайской монете 759 г. из 16 тюркских рун и надпись на гальке-талисмани из 4 знаков; даются прориси и чтение); *его же*. Руническая надпись на бронзовом кольце (р. Или). — «Вестник АН Казахской ССР», 1971, № 1 (309), стр. 64—66 (кольцо из погребения в Илийском р-не Алма-Атинской области Казахской ССР с четырьмя руноподобными знаками на печатке; прорись, чтение); Ф. Х. Арсланова, С. Г. Кляшторный. Руническая надпись на зеркале из Верхнего Прииртышья. — «Тюркологический сборник 1972», стр. 306—315 (надпись на бронзовом зеркале из кимакского (?) могильника IX—X вв. близ с. Зевакино Шемонаихинского р-на Восточно-Казахстанской области — 31 знак по 2 полукружностям; фото, прорись, чтение); С. Г. Кляшторный. Монета с рунической надписью из Монголии. — Там же, стр. 334—338 (надпись на монете, хранящейся в Институте истории АН МНР, состоит из 21 руны на гладком поле реверса; фото, прорись, чтение и комментарий); С. Г. Кляшторный, Е. Лубо-Песниченко. Бронзовое зеркало из Восточного Туркестана. — «Сообщения Государственного Эрмитажа», XXXIX. Л., 1974, стр. 45—48 (надпись на бронзовом зеркале эпохи Тан из 15 знаков; фотография, прорись, чтение и комментарий); В. М. Наделяев. Древнетюркская верительная грамота (С 1). — «Известия СО АН СССР. Серия обществ. наук», № 11 (236), вып. 3, 1974, стр. 115—118 (надпись из трех руноподобных знаков на палеолитическом нуклеусе, найденном в 1973 г. в бассейне р. Селенги); Ю. В. Гричан. Опыт реконструкции и интерпретации средневековых изображений на двух позднелитических нуклеусах. — Там же, стр. 119—122 (попытка определения техники нанесения изображений и знаков на упомянутом нуклеусе); Э. Р. Тенишев. Руническая надпись из Кувы. — «Восточная филология», III. Тбилиси, 1973, стр. 263—265 (11 знаков на двух фрагментах венчика хума, найденного на городище Кувы VII—VIII вв. в Фергане; прорись, чтение); см. также: И. А. Батманов. Таласские памятники древнетюркской письменности, стр. 24—26.

³⁸ См.: Б. А. Сулейменова. О состоянии исследования древнетюркских и средневековых письменных памятников в Казахстане. — «Советская тюркология», 1970, № 6, стр. 96—101.

³⁹ Г. Мусабиев, А. Махмутов, Г. Айдаров. — «Эпиграфика Казахстана», вып. I. Алма-Ата, 1971; см. также: А. С. Аманжолов. Руноподобная надпись из сакского захоронения близ Алма-Аты. — «Вестник АН Казахской ССР», 1971, № 12 (320), стр. 64—66; *его же*. Илийские рунические рукописи. — «Вопросы языкознания», 1969, № 3, стр. 147—151 (фото, прориси, чтение, толкование); *его же*. Две рунические надписи с Сыр-Дарьи. — «Вестник АН Казахской ССР», 1969, № 1 (285), стр. 72—74 (уточнение надписи на сырцовом кирпиче и печати).

⁴⁰ В связи с этим см., например: Б. А. Сулейменова. О состоянии исследования древнетюркских и средневековых письменных памятников в Казахстане, стр. 97; И. В. Кормушин, Д. М. Насилов. За научное, глубокое изучение древнетюркских руни-

ческих памятников (письмо в редакцию). — «Советская тюркология», 1972, № 5, стр. 139—142; *Олжас Сулейменов*. Еттисувнинг эски ёзувлари. — «Ўзбек тили ва адабиёти», 1971, № 5. Тошкент, стр. 71—75; *его же*. Иссыкское письмо. — «Комсомольская правда», 31.10.1970.

⁴¹ См., например: *И. Зыков*. Письмена Эллей-Боотура. — «Полярная звезда», 1969, № 4, стр. 114—117; *О. Сулейменов*. О языке некоторых этрусских надписей. Лингвистические этюды. — «Простор», 1968, № 5, стр. 69—75 (возможно, часть этих надписей — тюркские); *Абульфаз Гусейни Аслан-оглы*. Эрмитаж каменного века. — «Техника — молодежи», 1972, № 5, стр. 50—53; *Олжас Сулейменов*. Серебряные письма Золотого воина. — «Техника — молодежи», 1971, № 7, стр. 58—62; *его же*. Жетісудың көне жазбалары. — «Қазақ әдебиеті», 25.9.1970, стр. 1, 3; *В. Козьмин*. Время тюркской руники. — «Техника — молодежи», 1971, № 7, стр. 60—62; *С. Байчор*. Тёбен Архызда храмны эпиграфия эсчертмеси. — «Ленинни байрагы», 13.04.1974, стр. 4; «Вопросы истории», 1974, № 3, стр. 177.

⁴² См.: VI Тюркологическая конференция в Ленинграде. — «Советская тюркология», 1973, № 5, стр. 137.

⁴³ См.: *Л. В. Дмитриева*. Древнеуйгурские материалы (уйгурским письмом) в Институте востоковедения АН СССР. — В кн.: «Страны и народы Востока», вып. 3. Л., 1969, стр. 222—228; *С. Г. Кляшторный*. Об изучении древнеуйгурских памятников в СССР. — В кн.: «Исследования по уйгурскому языку», вып. 2. Алма-Ата, 1970, стр. 54—56; о памятниках берлинской коллекции см.: *Э. Фазылов, А. Чайковская*. К истории публикации тюркских турфанских памятников. — «Советская тюркология», 1973, № 3, стр. 88—91.

⁴⁴ *Л. Ю. Тугушева*. Древнетюркские стихи (рукопись из собрания ЛО ИВ АН СССР). — «Советская тюркология», 1970, № 2, стр. 102—106; *ее же*. Древнеуйгурская поэзия. — «Советская тюркология», 1970, № 4, стр. 101—107; *ее же*. Three Letters of Uighur Princes from the MS Collection of the Leningrad section of the Institute of Oriental Studies. — АОН, t. 24, 1971, fasc. 2, стр. 173—187; *ее же*. Ярлыки уйгурских князей из рукописного собрания ЛО ИВ АН СССР. — «Тюркологический сборник 1971». М., 1972, стр. 244—260; *ее же*. Поэтические памятники древних уйгуров. — «Тюркологический сборник 1972», стр. 234—253; *ее же*. Уйгурская рукопись из собрания ЛО ИВ АН СССР. — «Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования», 1969. М., 1972, стр. 315—339; *ее же*. Уйгурская версия биографии Сюань-Цзана (фрагменты из гл. X). — «Письменные памятники Востока. 1971», стр. 253—296.

⁴⁵ См.: *Д. М. Насилов, Л. Ю. Тугушева*. Рецензия на книгу: G. Hazai und P. Zieme. Berliner Turfantexte, I. Berlin, 1970. — «Советская тюркология», 1972, № 3, стр. 120—122; *Л. Ю. Тугушева*. Рецензия на книгу: J. R. Hamilton. Le conte bouddhique du bon et du mauvais prince en version ouigoure. Paris, 1971. — «Советская тюркология», 1973, № 2, стр. 121—124.

⁴⁶ *И. В. Кормушин, Д. М. Насилов*. За научное, глубокое изучение древнетюркских рунических памятников, стр. 139.

⁴⁷ *И. В. Кормушин*. К основным понятиям тюркской рунической палеографии. — «Советская тюркология», 1975, № 2, стр. 25—47.

⁴⁸ *А. [С.] Аманжолов*. Графика таласских, енисейских и орхонских надписей. — В кн.: «Қазақ тілі мен әдебиеті», вып. 3. Алма-Ата, 1973, стр. 16—26.

⁴⁹ *А. [С.] Аманжолов*. Графика таласских, енисейских и орхонских надписей, стр. 18—21; *его же*. Интерпретация некоторых рунических знаков. — «Ученые записки Тувинийяли», вып. XVI, 1973, стр. 163—168.

⁵⁰ См.: *А. С. Аманжолов*. Ранняя алфавитная письменность тюркоязычных племен. — В кн.: «Қазақ тілі және әдебиеті мәселелері», вып. 8. Алма-Ата, 1971, стр. 24—33; *его же*. К истории тюркского рунического алфавита. — В кн.: «Қазақ тілі мен әдебиеті», вып. 5, 1974, стр. 98—100; *его же*. Материалы и исследования по истории древнетюркской письменности. Автореф. докт. дисс. Алма-Ата, 1975.

⁵¹ *А. С. Аманжолов*. О древнейших наскальных знаках Казахстана. — В кн.: «Қазақ тілі мен әдебиеті», вып. 4, 1974, стр. 44—48; *его же*. Forefather Goat or the Ancient Turkic Inscription in Early Greek Alphabet. — «Archiv Orientalní», v. 42, 1, 1974. Praha, стр. 33—36 (фото, прорис, чтение и опыт толкования надписи).

⁵² *А. С. Аманжолов*. К истории тюркского рунического алфавита, стр. 98.

⁵³ *А. Махмутов*. Как возник древнетюркский алфавит. — В кн.: «Исследования по тюркологии». Алма-Ата, 1969, стр. 141—147.

⁵⁴ *Там же*, стр. 147.

⁵⁵ *G. Clauson*. The origin of the Turkish «runic» alphabet. — «Acta Orientalia», XXXII. Copenhagen, 1970.

⁵⁶ *А. Н. Самойлович*. Общий взгляд на возникновение и развитие мусульманско-тюркских литературных языков в связи с разговорными наречиями. — «Советская тюркология», 1973, № 5, стр. 105—110.

⁵⁷ И. А. Батманов. Древние тюркские диалекты и их отражение в современных языках. — В кн.: «Древние тюркские диалекты и их отражение в современных языках». Фрунзе, 1971, стр. 4; ср.: Н. З. Гаджиева. Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков. М., 1973, стр. 9—10.

⁵⁸ З. Б. Мухамедова. Опыт исследования числительных в историческом плане. — В кн.: «Исследования по истории туркменского языка», т. I. Ашхабад, 1973, стр. 5; ср.: Н. З. Гаджиева. Указ. раб., стр. 46—48; В. Асламов. Историческая лексикология азербайджанского языка, стр. 15.

⁵⁹ М. Р. Федотов, В. В. Радлов и Н. И. Ашмарин о происхождении чувашского языка. — «Советская тюркология», 1971, № 5, стр. 118.

⁶⁰ См.: Э. В. Севортян. Современное состояние и некоторые вопросы исторического изучения тюркских языков в СССР. — В кн.: «Вопросы методов изучения истории тюркских языков», стр. 17—23.

⁶¹ Э. Р. Тенишев. О методах и источниках сравнительно-исторических исследований тюркских языков. — «Советская тюркология», 1973, № 5, стр. 123.

⁶² И. А. Батманов. Древние тюркские диалекты и их отражение в современных языках, стр. 4.

⁶³ Там же, стр. 24—26.

⁶⁴ См.: А. С. Аманжолов. Интерпретация некоторых рунических знаков, стр. 164—165; А. М. Щербак. Енисейские рунические надписи. К истории открытия и изучения. — «Тюркологический сборник. 1970», стр. 130—131.

⁶⁵ К. Аширалиев. Древние тюркские элементы в современных тюркских языках (на материале орхоно-енисейских памятников). Автореф. канд. дисс. Фрунзе, 1969.

⁶⁶ Э. Құрышжанов. Қөне түркі тілдерінің жазу нұсқалары мен қазіргі қазақ тілі. — «Известия АН Казахской ССР. Серия филологическая», 1974, № 1, стр. 51—60.

⁶⁷ Е. [К.] Койчубаев. Древнетюркские черты в топонимах Казахстана. — «Вестник АН Казахской ССР», 1972, № 2 (322), стр. 52—56.

⁶⁸ Основную библиографию см.: А. Н. Кононов. Некоторые итоги развития советской тюркологии и задачи Советского Комитета тюркологов, стр. 10—11.

⁶⁹ В. Г. Кондратьев. Об отношении языка памятников орхоно-енисейской письменности к языку древнеуйгурских памятников. — «Советская тюркология», 1973, № 3, стр. 26; его же. Об отношении языка древнеуйгурских памятников к современным тюркским языкам. — «Вестник ЛГУ», № 20; история, язык, лит-ра, вып. 4, 1974, стр. 147—150.

⁷⁰ См.: Э. Р. Тенишев. «Кутадгу билиг» и «Алтын ярук». — «Советская тюркология», 1970, № 4, стр. 24—31; А. М. Щербак. О фонетических особенностях языка «Кутадгу билиг» и древнеуйгурском консонантизме. — Там же, стр. 20—23.

⁷¹ А. М. Щербак. О фонетических особенностях языка «Кутадгу билиг» и древнеуйгурском консонантизме, стр. 22.

⁷² А. Т. Кайдаров. К проблеме языковой преемственности древних и современных уйгуров. — «Известия АН Казахской ССР. Серия общественная», 1969, № 1, стр. 47—59; ср.: его же. Развитие современного уйгурского литературного языка. I. Уйгурские диалекты и диалектная основа литературного языка. Алма-Ата, 1969, стр. 15—42.

⁷³ См. также: Н. А. Баскаков. Роль уйгуро-карлукского литературного языка каракандидского государства в развитии литературных тюркских языков средневековья. — «Советская тюркология», 1970, № 4, стр. 13—19.

⁷⁴ В. Г. Кондратьев. Очерк грамматики древнетюркского языка. Л., 1970.

⁷⁵ Г. Айдаров. Язык орхонских памятников древнетюркской письменности VIII века. Алма-Ата, 1971.

⁷⁶ См. также: Г. Айдаров. Лексика енисейско-орхонских и таласских памятников древнетюркской письменности. Автореф. докт. дисс. Баку, 1974.

⁷⁷ См. также: И. В. Кормушин, Д. М. Насилов. За научное, глубокое изучение древнетюркских рунических памятников, стр. 140—142.

⁷⁸ Н. К. Антонов. Былыргы тюрк тыла (VI—VIII үйэлэр). Якутск, 1970.

⁷⁹ М. Р. Федотов. Древнетюркский язык. Учебное пособие по сравнительному изучению языка орхоно-енисейских памятников. Чебоксары, 1973.

⁸⁰ Г. Айдаров, Э. Құрышжанов, М. Томагов. Қөне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. Университет пен педагогтық институттардың филология факультеттеріне арналған оқу құралы. Алма-Ата, 1971, стр. 77—123 и 124—148; см. также: М. Н. Хыдыров, Г. Айдаров. Орхон-Енисей ядыгәрликлерининң дили. Ашхабад, 1968.

⁸¹ См. также: К. Дыйканов, С. Кудайберген, Ю. Яшансин. Кыргыз жазуусунун тарыхынан. Фрунзе, 1958; А. Мәһәррәмов. Гәдим түрк руник жазылы абыдалар. Баки, 1967; М. Н. Хыдыров, Г. Айдаров. Орхон-Енисей ядыгәрликлерининң дили.

⁸² Н. Оралбаева. Ертедегі түркі жазулары курсының программасы. Алма-Ата, 1969.

- ⁸³ Т. Жанузаков. Основные типы и состав тюркской ономастики V—VIII вв. — «Известия АН Казахской ССР. Серия общественная», 1971, № 1, стр. 61—65.
- ⁸⁴ А. А. Раджабов. Об Онгинском памятнике. — «Советская тюркология», 1970, № 2, стр. 33—43.
- ⁸⁵ М. А. Сейидов. К вопросу о трактовке понятий *jer sub* в древнетюркских памятниках в сопоставлении с реликтами домусульманских верований. — «Советская тюркология», 1973, № 3, стр. 63—69.
- ⁸⁶ З. Акылбекова, К. Аширалиев, Б. Осмоналиева, С. Сыдыков. Глоссарии. — В кн.: «Древние тюркские диалекты и их отражение в современных языках», стр. 27—29, 32—169.
- ⁸⁷ У. Асаналиев. Аффиксы, встретившиеся в енисейских и орхонских памятниках. — В кн.: «Древние тюркские диалекты и их отражение в современных языках», стр. 170—195.
- ⁸⁸ А. Есенгулов. Словообразовательные аффиксы в языке древнетюркской письменности (на материале орхоно-енисейских и таласских памятников). Автореф. канд. дисс. Алма-Ата, 1969; М. А. Ахметов. Синтаксический способ глаголообразования в языке орхоно-енисейских памятников. — «Ученые записки БашГУ», вып. 42, серия филологических наук, № 15 (19) («Некоторые вопросы урало-алтайского языкознания»), 1970, стр. 59—67; И. Н. Кобешавидзе. К вопросу о структуре корневых морфем в древнетюркском языке. — «Сообщения АН Грузинской ССР», т. 66, № 3, 1972, стр. 745—747; *его же*. Разграничение сфер глагольного словообразования и словоизменения в языке орхоно-енисейских надписей. — «Советская тюркология», 1972, № 5, стр. 91—95; *его же*. Система глаголообразующих морфем в языке орхоно-енисейских надписей. — «Вестник АН Грузинской ССР, отделение общественных наук, серия языка и литературы», 1972, № 1, стр. 129—136; М. Махматкулов. Аналитический способ словообразования в языке древнетюркских памятников. Автореф. канд. дисс. Ташкент, 1973; А. А. Раджабов. Производные глаголы на -ла, -лэ в языке орхоно-енисейских памятников. — «Ученые записки АГУ им. С. М. Кирова. Серия языка и литературы». Баку, 1973, № 4, стр. 32—37.
- ⁸⁹ И. Н. Кобешавидзе. К характеристике графики и фонемного состава языка орхоно-енисейских надписей. — «Советская тюркология», 1972, № 2, стр. 40—46.
- ⁹⁰ Э. Р. Тенишев. Смычные согласные в языке тюркских рунических памятников. — «Советская тюркология», 1973, № 2, стр. 40—45.
- ⁹¹ Э. Р. Тенишев. Перебой *s/š* в тюркских рунических памятниках. — В кн.: «Структура и история тюркских языков». М., 1971, стр. 289—295.
- ⁹² А. С. Аманжолов. К вопросу о соответствии *с/ш* в древнетюркских диалектах. — В кн.: «Исследования по уйгурскому языку», 2. Алма-Ата, 1970, стр. 167—169.
- ⁹³ К. Б. Бектаев, В. Г. Лобин. Статистические приемы описания причин фонетических изменений в языке. — «Известия АН Казахской ССР. Серия общественная», 1969, № 1, стр. 81—87.
- ⁹⁴ М. А. Ахметов. Глагол в языке орхоно-енисейских памятников (в сравнительном плане с современным башкирским языком). Автореф. канд. дисс. Алма-Ата, 1970.
- ⁹⁵ М. А. Ахметов. Деепричастия в языке орхоно-енисейских памятников и их отношение к современному башкирскому языку. — «Советская тюркология», 1974, № 3, стр. 39—51.
- ⁹⁶ Э. Гулиев. Орхон-Енисей жазылы абидалэриндэ илкин фе'лин бағлама формалары (Оғуз ґрупу тўрк диллэри илэ мўгајисэдэ). — «Ученые записки АГУ им. С. М. Кирова. Серия языка и литературы». Баку, 1973, № 2, стр. 55—60; *его же*. Вторичные формы деепричастий в языке орхоно-енисейских памятников (в сопоставлении с тюркскими языками огузской группы). — «Известия АН Азербайджанской ССР. Серия литературы, языка и искусства», 1974, № 1, стр. 90—95.
- ⁹⁷ И. Н. Кобешавидзе. К вопросу об условной форме в языке орхоно-енисейских надписей. — «Сообщения АН Грузинской ССР», т. 64, № 2, 1971, стр. 493—495.
- ⁹⁸ П. И. Кузнецов. Бессоюзные придаточные предложения с формой на -duk в памятниках орхоно-енисейской письменности. — «Советская тюркология», 1971, № 4, стр. 62—67.
- ⁹⁹ А. Кулиев. Причастия в языке орхоно-енисейских памятников. — «Ученые записки АГУ им. С. М. Кирова. Серия языка и литературы». Баку, 1974, № 2, стр. 69—76.
- ¹⁰⁰ А. С. Аманжолов. Глагольное управление в языке древнетюркских памятников. М., 1969.
- ¹⁰¹ См.: Г. Кулиев, А. С. Аманжолов. Глагольное управление в языке древнетюркских надписей (рецензия). — «Советская тюркология», 1970, № 3, стр. 128—130.
- ¹⁰² А. А. Раджабов. Взаимный залог глагола в языке орхоно-енисейских памятников. — «Ученые записки АГУ им. С. М. Кирова. Серия востоковедения», 1973, № 2, стр. 64—68.
- ¹⁰³ А. А. Раджабов. Страдательный залог глагола в языке орхоно-енисейских памятников. — «Ученые записки АГУ им. С. М. Кирова. Серия языка и литературы», 1974, № 5, стр. 41—46.

¹⁰⁴ А. А. Раджабов. Перифрастические формы глагола в языке орхоно-енисейских памятников. — «Ученые записки АГУ им. С. М. Кирова. Серия востоковедения», 1974, № 2, стр. 59—60.

¹⁰⁵ А. Есенқұлов. Орхон-Енисей жазба ескерткіштер тіліндегі есімдіктер жәйлі бірер сөз. — «Известия АН Казахской ССР. Серия общественная». Алма-Ата, 1971, № 3, стр. 78—80.

¹⁰⁶ Б. Осмоналиева. О вопросительных местоимениях в орхоно-енисейских памятниках. — «Известия АН Киргизской ССР». Фрунзе, 1973, № 3, стр. 90—96.

¹⁰⁷ Г. Айдаров. Служебные части речи в языке надписей орхонских памятников. — В кн.: «Исследования по тюркологии». Алма-Ата, 1969, стр. 148—154.

¹⁰⁸ А. А. Раджабов. Послелogi в языке орхоно-енисейских памятников. — «Ученые записки АГУ им. С. М. Кирова. Серия языка и литературы». Баку, 1968, № 3, стр. 91—98.

¹⁰⁹ А. Н. Самойлович. Материалы для указателя литературы по енисейско-орхонской письменности. — «Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Русского географического общества», XV, 1 (1912). СПб., 1914, стр. 55—80.

¹¹⁰ Ср. также: Э. Трыарский. Новые исследования по древнетюркским памятникам в Монголии и методология издания рунических надписей. — В кн. «Олон улсын монголч эрдэмтний II их хурал», т. II. Улан-Батор, 1973, стр. 170—175; его же. Еще раз о методике издания рунических надписей. — В кн.: «Turcologica». Л., 1976, стр. 325—333.

М. А. УНГВИЦКАЯ

ПРОБЛЕМА ФОЛЬКЛОРИЗМА И ЛИТЕРАТУРЫ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ СИБИРИ

Проблема фольклоризма, то есть соотношения фольклора и данной национальной литературы в процессе ее становления и развития, является в настоящее время одной из наиболее актуальных, особенно для литератур младописьменных, к которым и относятся литературы тюркских народов Сибири — алтайская, тувинская, хакасская, якутская.

Многонациональная литература СССР развивается по общим законам социалистической культуры, в основе которой лежит интернационализм, гармонически сочетающийся с национальным началом. Еще В. И. Ленин подчеркивал, что «интернациональная культура не безнациональна»¹.

Любая национальная литература в нашей стране самобытна и оригинальна, что в значительной мере объясняется творческим восприятием писателями братских литератур национального культурного наследия — устного народного поэтического творчества.

В теоретических дискуссиях, монографиях, статьях первой половины 70-х годов живо и остро обсуждалась проблема национального фольклора — органической части культурного наследия народа, играющей огромную роль в формировании национальных литератур, особенно младописьменных².

Проблема фольклоризма рассматривается в тесной связи с благотворным влиянием русской классической литературы и идейно-эстетическими завоеваниями советской литературы. Большинство ученых утверждает плодотворность и неисчерпаемость вечно живого источника устного народного творчества для любой из национальных литератур³.

В данной статье мы попытаемся рассмотреть суждения литературоведов Алтая, Тувы, Якутии и Хакасии по данной проблеме с целью установления основных тенденций в ее решении.

Алтайская, тувинская, хакасская и якутская литературы являются, как известно, младописьменными: свою письменность они получили только в советское время, в 20—30-е гг. При этом следует отметить, что алтайцы и якуты уже имели некоторые национальные литературные традиции и в дореволюционный период. Басни и стихи М. В. Чевалкова

¹ В. И. Ленин. О литературе и искусстве. М., 1967, стр. 99.

² См. материалы дискуссии о развитии романа в национальных литературах («Вопросы литературы», 1971, № 9).

³ Г. И. Ломидзе. Интернациональный пафос советской литературы. М., 1970; *его же*. Расширение эстетического диапазона. — «Вопросы литературы», 1971, № 9, стр. 17; *его же*. Ленинизм и судьбы национальных литератур. М., 1974, стр. 165—169.

на Алтае, первые стихи, рассказы и пьесы ныне известных писателей Якутии А. Е. Кулаковского, А. И. Софронова и других публиковались на страницах местных газет, начавших издаваться после революции 1905 г., а также в отдельных академических изданиях.

Однако эти первые ростки якутской и алтайской национальных литератур и зачатки письменности были еще мало доступны широким народным массам. Поэтому с полным правом все четыре тюркские литературы Сибири относятся специалистами к младописьменным.

Семидесятые годы богаты капитальными литературоведческими исследованиями тюркологов Сибири, посвященными проблеме фольклоризма в младописьменных литературах. Эти публикации подразделяются на две группы. К первой относятся исследования, основной стержень которых составляет рассмотрение фольклора как культурного наследия, играющего важную роль в становлении развивающихся литератур. Таковы книги якутских литературоведов Г. М. Васильева⁴ и В. Т. Петрова⁵. В этом же ряду стоит книга алтайского исследователя З. Казагачевой⁶. Во вторую группу входят книги, в которых проблема фольклоризма трактуется попутно, но с должной обстоятельностью и научной глубиной. Сюда относятся работы алтайского литературоведа С. С. Каташа⁷ и тувинского — Д. С. Куулара⁸.

В хакасской литературе проблема фольклоризма рассматривается в работах исследователя тюркских литератур Сибири К. Ф. Антошина и автора данной статьи. Материалы этих работ привлекаются по ходу изложения.

Общим для всех упомянутых исследований является прежде всего научный подход к изучению закономерностей литературного процесса и его взаимодействия с фольклором, систематизация весьма обширного материала, подтверждение конкретными примерами каждого из выдвигаемых авторами теоретических положений. Примеры (за редким исключением) приводятся с подстрочным или литературным переводом на русский язык.

Общим для всех этих работ является признание величайшей идейно-эстетической ценности национального фольклора для каждой из литератур, как важного и неперемennого компонента общего культурного наследия, определяющего ее национально-художественное своеобразие. Фольклор рассматривается в связи с историей народа, его культурой и эстетическими идеалами: «Не только весь богатырский эпос олонхо, но и весь якутский фольклор насквозь проникнуты духом исторической героики, духом многотрудной борьбы человека за существование, за счастливую жизнь на этой „гибельной“, но благодатной земле, в стране олонхо. Именно ценой неимоверных испытаний и бед во имя преодоления трудностей, граничащих с угрозой вымирания, якутский народ поистине выстрадал столь мужественную, полную величия духа и неистребимой жизнерадостности поэзию»⁹. Эти слова Г. М. Васильева в равной мере могут быть отнесены и к народному поэтическому творчеству алтайцев, тувинцев и хакасов.

В. Т. Петров подчеркивает не только эстетическую роль якутского фольклора, но и его воспитательное значение, определяемое нравственным здоровьем трудового народа¹⁰.

⁴ Г. М. Васильев. Живой родник. Якутск, 1973.

⁵ В. Т. Петров. Роль фольклора в зарождении якутской литературы. Якутск, 1972.

⁶ З. Казагачева. Зарождение алтайской литературы. Горно-Алтайск, 1972.

⁷ С. С. Каташ. Литературные портреты. Горно-Алтайск, 1971.

⁸ Д. С. Куулар. Тувинская поэзия. Кызыл, 1970.

⁹ Г. М. Васильев. Указ. раб., стр. 8—9.

¹⁰ В. Т. Петров. Указ. раб., стр. 6.

Тувинский литературовед Д. С. Куулар отмечает, что «тувинский героический эпос — неписанная история народа, отражение его мировоззрения, духовного склада, национального характера»¹¹.

Огромным уважением к родному алтайскому фольклору, умением раскрыть его значение отличаются упомянутые выше книги С. С. Каташа и З. Казагачевой.

Общим для исследователей является также стремление конкретно и обстоятельно рассмотреть диалектический характер взаимоотношений литературы и фольклора. С одной стороны, национальные писатели стремятся преодолеть «окаменевшие» формы фольклора, некоторые его изжившие себя традиционные приемы, элементы мифологии и фантастики, идейную ограниченность и даже в некоторых случаях реакционную направленность, с другой стороны, — творчески переработать фольклорные богатства.

Д. С. Куулар подчеркивает постоянную направленность тувинской поэзии на обогащение художественными ценностями фольклора, яркими метафорами, песенными жанрами. Вместе с тем он отмечает, что в 30-е годы у тувинских поэтов наметилось стремление «выйти из-под фонетического строя народной песни, в частности отказаться от постоянного применения аффиксов *-найда, -нейде, -ла, -ле*»¹². Если в якутском *алгысе* (благопожелании), в фольклорных его вариантах «охотник крайне беспомощен и покорно подчинен хозяину тайги», то в *алгысе* якутского писателя А. Е. Кулаковского охотник «смелее обращается к хозяину тайги, излагает свою просьбу в более свободном тоне, с верой в свои собственные возможности ждет богатую добычу»¹³. Подобные же примеры преодоления писателями архаических элементов и форм фольклора отмечают исследователи алтайской литературы¹⁴.

Как считают многие тюркологи, преодоление некоторых устаревших фольклорных традиций вовсе не означает полного отхода от фольклорной образной системы. Весьма плодотворно «стремление сочетать новое видение мира с национальными средствами художественного выражения», неотделимыми от фольклора.

Во всех рассматриваемых работах утверждается плодотворность взаимовлияния и творческого сочетания, а иногда и своеобразной комбинации метода социалистического реализма и традиций устно-поэтического творчества.

Г. М. Васильевым изучается влияние фольклорной традиции на развитие якутской литературы, начиная с ее первого этапа — 20-х и начала 30-х гг., когда «поэтическое творчество народа как бы диктовало правила и нормы художественного мастерства»¹⁵. Исследователь отмечает плодотворное воздействие на якутскую поэзию творчества В. В. Маяковского, указывая одновременно, что отдельные писатели середины 30-х гг. (Элляй, Н. Е. Мординов) отрицали наличие в фольклоре социальных мотивов, его народность. Г. М. Васильев справедливо связывает эти ошибки с «состоянием всей советской фольклористики, страдавшей в то время от воздействия расцветавшего вульгарного социологизма»¹⁶.

«Новое создается в той или иной мере по образцу и подобию старого классического фольклора»¹⁷, — пишет Г. М. Васильев. Для подтвержде-

¹¹ Д. С. Куулар. Указ. раб., стр. 4.

¹² Там же, стр. 44.

¹³ В. Т. Петров. Указ. раб., стр. 23—28.

¹⁴ С. С. Каташ. Указ. раб., стр. 148; З. Казагачева. Указ. раб., стр. 23, 34, 37, 39, 52, 55, 77.

¹⁵ Г. М. Васильев. Указ. раб., стр. 131.

¹⁶ Там же, стр. 134.

¹⁷ Там же, стр. 148.

ния этого тезиса автор приводит множество примеров творческого переосмысления якутскими писателями фольклора эпического, песенного и малых форм (пословиц, поговорок, загадок). Профессиональные поэты используют художественно емкие и яркие выразительные средства народной поэзии, характерную для нее героико-романтическую фантастику и эпические образы¹⁸.

Если Г. М. Васильев основное внимание уделяет изучению устно-поэтического творчества как животворного родника, питающего национальные литературы, то другие ученые, обращаясь к анализу литературного материала, останавливаются на гармоническом слиянии фольклорных и литературных элементов в лучших произведениях писателей, утверждая непреходящее значение фольклора для национальных литератур.

В. Т. Петров отмечает в творчестве А. Е. Кулаковского взаимодействие двух начал. Поэт умело пользуется словесно-изобразительными богатствами якутского фольклора и под влиянием русской демократической литературы вводит в свои произведения социальные мотивы, совершенствует их композицию¹⁹.

Д. С. Куулар исследует воздействие А. С. Пушкина и В. В. Маяковского на творчество тувинского поэта С. Пюрбю²⁰. Гармоническое сочетание литературной традиции с художественными приемами фольклора определило формирование стиля алтайского поэта П. Кучияка, создавшего публицистическую поэзию и широко использовавшего в своих произведениях внутренний монолог, конечную рифму, разговорную интонацию²¹.

Таким образом, сибирские тюркологи-литературоведы прежде всего исследуют роль фольклорного наследия в развитии и становлении национальных литератур, в то время как литературное влияние прослеживается ими как бы попутно, с точки зрения сочетания его с фольклорной традицией.

Проблема фольклоризма в работах литературоведов Сибири освещается на основе текстологического анализа произведений всех литературных жанров — поэзии, прозы, драматургии.

Делается попытка установления некоторых закономерностей связи младописьменных литератур с национальным фольклором. Анализируется творческое усвоение отдельными писателями фольклорного наследия. Конкретно исследуются воспринимаемые литературой идейно-художественные компоненты произведений фольклора: темы, художественные приемы, характеры персонажей, поэтический язык, элементы героического эпоса, песенных жанров, пословицы и поговорки, благопожелания (*алгыс* — алт., тув., якут.), сатирические скороговорки (*чабыргах* — якут.).

Следующие слова В. Т. Петрова выражают общее мнение сибирских литературоведов: «Такие коренные, основополагающие вопросы, как развитие национальной формы, национальной специфики, народности и своеобразные пути формирования социалистического реализма, самым тесным образом связаны с проблемой взаимосвязи фольклора и литературы»²².

¹⁸ Г. М. Васильев. Указ. раб., стр. 162.

¹⁹ В. Т. Петров. Указ. раб., стр. 33.

²⁰ Д. С. Куулар. Указ. раб., стр. 31, 39.

²¹ З. Казагачева. Указ. раб., стр. 98, 102—103.

²² В. Т. Петров. Указ. раб., стр. 5.

Освоение богатств фольклора способствует не только успешному становлению, не только первоначальному, но и всему последующему развитию младописьменных литератур как литератур социалистического реализма.

Это бесспорное положение подводит к следующему, вполне закономерному выводу: национальное своеобразие, подлинная народность литературы немыслимы без опоры на фольклор.

Бесспорным является утверждение, что фольклор обогатил советскую литературу новыми темами, самобытным содержанием. В работах Г. М. Васильева приводятся конкретные примеры, подтверждающие это положение²³. Немало аналогичных примеров приводится в книгах алтайских и тувинских литературоведов.

Сибирские ученые стоят на позициях историзма и, отрицая теорию «единого потока», не все фольклорные традиции считают положительными и приемлемыми для советской литературы. Как известно, в произведениях фольклора наряду с мудростью и многовековым опытом народа, его высокими нравственными идеалами нашли отражение также и устоявшиеся предрассудки, различные суеверия и т. п., возникновение которых исторически вполне объяснимо.

Ошибочные идеи, навеянные фольклором, отмечаются, например, в дореволюционном творчестве некоторых писателей. В этой связи В. Т. Петров упоминает сказку-сатиру «Остуоруйа» Василия Попова, написанную им до революции²⁴.

Советские писатели, по справедливому замечанию П. А. Ойунского, «берут из народного творчества огонь, а не пепел»²⁵.

По единому мнению литературоведов Сибири, литература каждого из народов этого региона самостоятельна и самобытна и отражает особенности их мышления, художественных пристрастий и вкусов. Этому во многом способствуют оригинальные особенности фольклора каждого народа.

Все писатели младописьменных литератур обращаются к образу вождя революции В. И. Ленина.

Алтайский поэт П. А. Чагат-Строев, один из зачинателей алтайской литературы, создал в 1928 г. поэму о Ленине «Мудрый богатырь», восходящую по своим стилистическим и художественным особенностям к героическому сказанию. Герой поэмы в своей борьбе против помещиков и капиталистов, воплощенных в образах фантастических чудовищ, опирается на представителей рабочих и крестьян, символизируемых образами богатырей алтайских сказаний. По мнению З. Казагачевой, поэма «Мудрый богатырь» — «своеобразная художественная интерпретация в героико-эпическом народном стиле истории коммунистического движения в России, его зарождения и победы»²⁶.

Обращение к фольклорным образам при создании Ленинианы закономерно для младописьменных литератур не только на ранних этапах их развития, но и в период художественного возмужания. Хакасский драматург и поэт М. Е. Кильчииков, будучи одаренным сказителем-хайджи, создал в 60-е годы поэму о Ленине под названием «Орел» («Хара Хус») ²⁷. Насыщенная образами героического эпоса и народных сказок,

²³ Г. М. Васильев. Указ. раб., стр. 138—139.

²⁴ В. Т. Петров. Указ. раб., стр. 17.

²⁵ См.: Г. М. Васильев. Указ. раб., стр. 128.

²⁶ З. Казагачева. Указ. раб., стр. 31.

²⁷ М. Кильчииков. Хара Хус. — В журн.: «Ах Тасхыл», Абакан, 1969, № 17, стр. 8—14.

поэма построена в форме предания о временах стародавних, когда бедняк-хакас, охотник или пастух, был подобен одинокому всаднику в безбрежной и безводной хакасской степи. Новую жизнь обездоленным беднякам принес богатырь, родившийся на берегах Волги, обладающий могучей силою и умом алмазной крепости. Ступив на берега Енисея, богатырь создал верного помощника *Чил-айы* — месяц Октябрь. Фольклорный стиль поэмы удачно передан Г. Сысолятиным в переведенном им отрывке:

И Чил-айы летел стрелой громовой
И, повалив тирана, сжег дотла.
И вся тайга восстала к жизни новой,
И каждая былинка зацвела.
Он землю всю свободой наполнил,
Победоносея был его полет —
Ведь у грозы он взял всю жгучесть молний,
Кипучесть взял у родниковых вод.
И справедливость над тайгою правит,
И воздух чист, и дни лесов светлы.
И каждый вздох листвы зеленой славит
Защитника и друга Чил-айы²⁸.

Алтайский поэт Аржан Адаров, следуя фольклорно-песенной традиции, сравнивает Ленина с солнцем («Он поднял солнце»²⁹), уподобление Ленина солнцу находим и в стихотворении хакасского поэта Н. Г. Доможакова³⁰.

В соответствии с художественными традициями фольклора часто рисуются и образы простых тружеников, приобщившихся к новой жизни, ставших хозяевами своей земли. Роман «Арина» алтайского писателя Лазаря Кокышева вышел в свет в конце 40-х годов. «В характере Арины отразились лучшие качества алтайского народа: твердость духа, высокий патриотизм, стойкость, самообладание, выносливость, скромность», — отмечает С. С. Каташ. Изображение природы в романе «Арина» насыщено олицетворениями и эпической образностью («травинки зазвенели тонко, как струны топшура», тучи уподобляются «ненасытному многоголовому Дьелбегену, пожирающему голубизну неба и проглатывающему горы» и т. п.)³¹.

Анализируя песни А. Е. Кулаковского, В. Т. Петров отмечает выражение в них высоких этических идеалов народа в традициях фольклорных алгысов-благопожеланий.

Бар дьонгор,
Баттанар куннэригэр
Баарауай бауана буал³².

‘Будь родному народу
В дни угнетения и притеснения
Непоколебимой опорой’.

Мы, таким образом, видим, что нравственный облик современного алтайца, хакаса, тувинца, якута в значительной степени формировался под воздействием этических идеалов патриархального уклада, получивших четкое выражение в традиционных формулах фольклора.

²⁸ М. Е. Кильчицаков. Легенда о Чил-айы. — В сб.: «Весеннее настроение». Красноярск, 1972, стр. 12.

²⁹ С. С. Каташ. Указ. раб., стр. 58—59.

³⁰ Н. Доможаков. Солнце. — Газ. «Советская Хакасия», № 94, от 22 апреля 1975 г.

³¹ С. С. Каташ. Указ. раб., стр. 99.

³² В. Т. Петров. Указ. раб., стр. 36.

Моральный кодекс строителя коммунизма определяется совершенно иной и принципиально новой действительностью, коренными общественными преобразованиями, рожденными Октябрьской революцией, и тем не менее воспитание высоких этических идеалов человека социалистического общества в большой степени связано с сохранением лучших прогрессивных традиций национальной культуры.

Язык литературных произведений — это сфера, в которой особенно отчетливо и полно прослеживаются связи с фольклором. Вот, например, как якутский поэт А. Е. Кулаковский в сатирическом стихотворении характеризует богача, используя фольклорную фразеологию:

Нэлэ тэриэлкэлээх,
Ньаала хамылахтаах³³.

‘С плоской тарелкой,
С выщербленной ложкой’.

С. С. Каташ указывает на близость к фольклорным традициям многих произведений алтайских писателей: исторического романа И. В. Шюдоева «Трудные годы» (о временах господства на Алтае джунгарских ханов XV—XVII вв.), поэмы Л. В. Кокышева «Трубачи» (на алтайском языке «Туба») о бедняке Тубе, ставшем большевиком, романа того же автора «Арина», poem А. Адарова «Алтай», С. Суразакова «Аргамак» и других произведений³⁴.

Гиперболизация и фантастика эпических образов используются алтайскими поэтами в целях яркой изобразительности и типизации характеров героев-современников.

Все сказанное выше об алтайской литературе в равной мере относится и к якутской, хакасской, тувинской литературам.

Интересны наблюдения исследователей над восходящими к фольклору образными выражениями литературных произведений. Одним из таких распространенных поэтических образов у алтайских поэтов является дымящаяся трубка. Ср. у поэта Б. Укачина: «Можно трубку, привстав немножко, прикурить от любой звезды»; синеющая вершина Уч-Сумер «курит трубку синего тумана»³⁵. Для стихотворений Л. Кокышева характерны гиперболы фольклорного стиля: «Моя постель — ||алтайские степи||, мое одеяло — ||синее небо||, Сам же я — богатырь».

Очень близки к фольклорным метафоры и гиперболы в поэзии Эркемена Палкина. Борис Укачин уподобляет лирического героя ветке горного кедра, крепкой и зеленой даже в морозы³⁶.

Своеобразен мир поэтических образов и якутской поэзии, также непосредственно связанной с фольклором. У А. Е. Кулаковского рев гудка парохода сравнивается с ревом сказочного быка, эхо ему отвечает громовым раскатом, небо — тяжким скрежетом³⁷. Эти сравнения перекликаются с гиперболами якутского героического эпоса олонхо.

Хакасскому поэту Н. Г. Доможакову покрытые инеем деревья городского парка представляются девушками с ниспадающими *сюрмесками* (косичками). В романе «В далеком аале» солнце, уплывающее за горизонт, сравнивается поэтом с шаманским бубном. Все это придает его поэтическому языку яркий национальный колорит.

³³ См.: В. Т. Петров. Указ. раб., стр. 41.

³⁴ С. С. Каташ. Указ. раб., стр. 80, 98, 112, 122.

³⁵ Там же, стр. 147.

³⁶ Там же, стр. 87, 123, 141.

³⁷ В. Т. Петров. Указ. раб., стр. 29.

Можно было бы привести множество подобных примеров и из произведений тувинских писателей. Приведенное выше показывает, что характерной особенностью языка младописьменных литератур является его насыщенность фольклорными образами.

Влияние фольклора на литературы народов Сибири сказывается и в области образования новых литературных форм.

Г. М. Васильев и В. Т. Петров прослеживают трансформацию фольклорных жанров в произведениях якутских писателей, начиная с творчества первых представителей якутской литературы. Для дореволюционного творчества А. Е. Кулаковского, например, характерна художественная переработка жанра охотничьих благопожеланий (*алгыс*), старинной якутской клятвы, хороводных песен, песен о природе, сатирических шуточных скороговорок (*чабыргах*), пословиц и поговорок, сказок и героического эпоса, а также песен, посвященных либо возвеличиванию трудящихся женщин, либо высмеиванию жен толстосумов или женщин легкого поведения³⁸.

Влияние фольклорных жанров можно проследить также в алтайской, тувинской, хакасской литературах. Выше было отмечено возникновение жанра поэмы, созданной на основе героического эпоса алтайцев и хакасов. В тувинской поэзии творчески переосмысливаются в соответствии с новыми условиями известные фольклорные жанры наказа представителей старшего поколения молодым, сатирические частушки и др.

Поэма «Саны Мого» Сарыг-оола (1942) повествует о тувинском ара-те, в прошлом байском батраке, приобщившемся к новой жизни и ставшем знатным животноводом. Это произведение обнаруживает сложную фольклорную основу: «Сарыг-оол искусно вводит в ткань поэмы многие жанровые виды устной поэзии — песни, частушки, пословицы, поговорки, заклинания»³⁹.

Для автобиографического романа Сарыг-оола «Повесть о светлом мальчике» также характерно постоянное обращение автора к фольклорным жанрам. Роман начинается с тувинской пословицы: «Говорят, лошади узнают друг друга посредством ржания, а люди — посредством беседы»⁴⁰. Таких народных изречений в романе множество. Обращается Сарыг-оол и к преданиям, связанным с тувинским народным летосчислением.

В романе Н. Г. Доможакова использован материал фольклорных *кинчоохов*, преданий о духе гор Таг ээзи — хранителе богатств земных недр, которого хакасы в давнее время считали хранителем человеческого здоровья⁴¹, а также сказок и народных хакасских песен.

Жанр сатиры в младописьменных литературах имеет фольклорную основу. Сатиры «Скупой богач» и «Пьяный буржуй» якутского писателя А. Е. Кулаковского представляют собой литературную обработку народного *чабыргаха*⁴².

Известная в хакасском фольклоре сказка о лисе трансформируется хакасским писателем М. Е. Кильчицаковым в злободневное сатирическое произведение — «Сказку о хитрой лисе» — разоблачающее коварство и жестокость, утверждающее конечное торжество справедливости⁴³.

³⁸ В. Т. Петров. Указ. раб., стр. 23—32.

³⁹ Д. С. Куулар. Указ. раб., стр. 68.

⁴⁰ С. Сарыг-оол. Повесть о светлом мальчике. М., 1974, стр. 9.

⁴¹ Николай Доможаков. В далеком аале. М., 1974, стр. 175, 269.

⁴² В. Т. Петров. Указ. раб., стр. 41—43.

⁴³ См.: М. А. Унгвицкая. Значение устно-поэтической традиции для хакасской поэзии. — В сб.: «Роль фольклора в развитии литератур народов СССР». М., 1975, стр. 203—204.

Обращение писателей к фольклорным жанрам обусловлено рядом причин и закономерностей. Оформились два главных направления в использовании фольклора в литературных произведениях.

Одно из них можно определить как «иллюстрирующее». Различные жанры фольклора — сказки, героические сказания или отдельные их фрагменты, пословицы, поговорки, заклинания, легенды, песни включаются в ткань романов, повестей, рассказов, пьес. Фольклорные элементы в этом случае выполняют в тексте функцию «вставок» и отступлений, что важно как для этнографической характеристики бытового уклада, так и для раскрытия особенностей национального характера.

Другое из упомянутых направлений выражается в трансформировании фольклорных жанров, в их переработке, переосмыслении. Геронко-патриотические поэмы, создаваемые в младописьменных литературах на современную или историческую тему, не повторяют соответственно фольклорных героических сказаний алтайцев, тувинцев, хакасов и якутов. Это качественно новые жанры, воспринявшие от героического эпоса тюркоязычных народов Сибири панорамность и масштабность изображения жизненных явлений, полет художественной фантазии и пафос героического подвига.

Сказанное о трансформации эпических жанров в равной мере относится и к лирике. Все исследователи отмечают преобразование в лирике поэтов жанра народной песни (алтайской — *кожон*, тувинской — *кожамык*, хакаской — *тахпах* и *ыр*, якутской — *ырыа*). Для поэтики писателей, обращающихся к жанру народной лирической песни, характерно более раскованное и вольное повествование или самовыражение лирического героя, отказ от традиционных приемов при сохранении идейно-художественных достоинств народной песни — ее живого отклика на важнейшие события в жизни народа, афористичности языка, яркости и поэтичности образов, звучности стиха.

В хакаской поэзии формируется новая форма самовыражения автора — сочетание лирических монологов с диалогами, а также жанр лирической баллады с динамическим сюжетом. Все эти новые формы теснейшим образом связаны с художественными особенностями народных хакаских песен — *ыров* и *тахпахов*⁴⁴.

Потенциальные возможности, заложенные в традиционном песенном фольклоре, получают в младописьменных литературах новое осмысление и бытие.

Остановимся несколько подробнее на особенностях некоторых отдельных исследований.

В монографии Г. М. Васильева «Живой родник» рассматриваются все жанры традиционного якутского фольклора: олонхо, сказки, песни, различные виды алгысов, пословиц, поговорок, загадок. Прослеживается развитие устно-поэтического творчества дореволюционного периода и в наши дни. Анализ фактического материала, конкретных примеров сочетается с глубоким пониманием фольклора.

Г. М. Васильев не отрывает народное поэтическое творчество от его органической части — исполнительского искусства сказителей, что придает его суждениям необходимую полноту и достоверность.

Интересные результаты дало проведенное Г. М. Васильевым сравнение текста орхонской надписи в честь Кюль-Тегина⁴⁵ с текстами олонхо

⁴⁴ М. А. Унгвицкая. Проблема лирических жанров в хакаской поэзии. — «Ученые записки Хакаского научно-исследовательского института языка, литературы, истории», вып. XX. Абакан, 1975, стр. 1—16.

⁴⁵ Г. М. Васильев. Указ. раб., стр. 95—96.

и якутскими народными пословицами и фразеологизмами: были установлены параллели и некоторые общие черты стиля⁴⁶. Это дает основание высказать определенные предположения об этногенезе якутов.

Для работ В. Т. Петрова характерно пристальное внимание к особенностям якутского стиха, имеющим важное значение для изучения поэзии тюркских народов, в которой в соответствии с законами сингармонизма большую роль играет ассонанс, сочетающийся с аллитерацией. Исследование аллитераций, ассонансов, параллелизмов, рифм и рифмодов якутской поэзии позволяет глубже проникнуть в ее связь с фольклором и проследить либо за ходом постепенного освобождения письменной поэзии от устаревших традиционных компонентов фольклорного песенного стиха, либо за умелым творческим использованием его достоинств⁴⁷.

В книге З. Казагачевой говорится об отдельных особенностях алтайского стиха. На примере поэзии П. Кучияка раскрывается роль рифм, пауз, анафор, прослеживается влияние фольклорного стиха.

Во всех указанных исследованиях проблема фольклоризма рассматривается в генетическом аспекте, анализируется процесс зарождения алтайской, тувинской, хакаской, якутской литературы.

Книга К. Ф. Антошина, посвященная обзору поэзии и прозы в алтайской, тувинской и хакаской литературах⁴⁸, содержит интересный сопоставительный материал, подтверждающий значительную роль родного фольклора в становлении и развитии младописьменных тюркских литератур.

Большое внимание во всех исследованиях, посвященных проблеме фольклоризма, авторы уделяют интерпретационному аспекту, то есть рассмотрению фактов и особенностей истолкования и трансформации писателями и поэтами компонентов фольклорного жанра.

Проследивая закономерности развития алтайской прозы, З. Казагачева приводит примеры переосмысления писателями и поэтами фольклорных элементов, постоянного обращения к произведениям народной поэзии при изображении современности, раскрытии характера и психологии алтайских тружеников. В рассказе «Железный конь» П. Кучияка воображение зрителей поражает впервые увиденный ими автомобиль. Их впечатления передаются через колоритные реплики в адрес «железного коня»: «быстроногий», «глаза, как два солнца», «сильный, как река», «на самых лучших бегунцах догоняли и не догнали». Гудок автомобиля ассоциируется с ржанием коня. В другом месте снег сравнивается с горностаевым одеялом, цветы и травы, покрывающие горы, — с праздничными платьями.

На основании многочисленных примеров З. Казагачева приходит к заключению о важном месте, которое занимает фольклор в творчестве этого алтайского прозаика. «Через образные средства фольклора писатель впечатляюще и художественно умеет передать душевное состояние человека»⁴⁹. Это можно видеть в описании переживаний Унчулай, матери Кичемкея (рассказ «Железный конь»). Не дав сыну своего согласия на его учебу, она приходит в смятение от обуревающих ее мыслей и чувств. «Унчулай в четвертый раз достала из-за голенища кожаный кисет с табаком. Трубка стала горячеей, и сердце матери билось горячее... Не-

⁴⁶ Г. М. Васильев. Указ. раб., стр. 34.

⁴⁷ В. Т. Петров. Указ. раб., стр. 50—57.

⁴⁸ К. Ф. Антошин. Время добрых надежд. М., 1975.

⁴⁹ З. Казагачева. Указ. раб., стр. 139.

вольно думалось о прошлом. Дни были серые, как крылья журавлей. Беды сделали глаза дождевой тучей»...⁵⁰.

«Интерпретация» фольклора выражается не только в удачном использовании языка фольклора, но и в трактовке образов его персонажей. Герой множества якутских легенд, благородный разбойник Василий Манчары, в драме одного из зачинателей якутской литературы А. И. Софронова приобретает по сравнению с фольклорным образом новые благородные черты и достоинства⁵¹.

В тувинской и хакасской поэзии исследователи отмечают распространенность трансформированных сложных ассоциаций и аллегорий, восходящих к песенному фольклору. В тувинской поэзии цвет красного знамени ассоциируется с пролитой в боях за свободу кровью («Наш герой» С. Сарыг-оола), бурная современность — с образом утра, будущее — с вечным полуднем («Шествие молодости» С. Пюрбю)⁵². В хакасской поэзии распускающиеся цветы — это символ любви; мрамор уподобляется сказочному светлому камню; стремление народов к миру ассоциируется с раздольной могучей силой енисейской волны⁵³.

Интерпретационный аспект проблемы фольклоризма представляется наиболее актуальным в изучении становления и развития младописьменных литератур Сибири.

В заключение хотелось бы отметить те вопросы, которые не получили должного освещения в существующих исследованиях. Это прежде всего закономерности развития фольклора в советское время.

Изучение жанров советского фольклора (песен, пословиц), взаимовлияния фольклора и современной литературы — важнейшие аспекты проблемы фольклоризма. Необходимо широкое и систематизированное исследование влияния традиционного устного поэтического творчества и современного фольклора на возникновение и развитие новых литературных жанров.

На очереди также комплексное изучение идейно-эстетического развития фольклора в наше время: успехов в типизации и индивидуализации характеров, живописании пейзажа, бытового уклада (пиршеств, свадебных состязаний, жанровых сцен, колоритных деталей), поэтики пословиц, поговорок, загадок.

Проблема творчества акынов, глубоко исследованная в Якутии Г. М. Васильевым, должна привлечь к себе внимание и других тюркологов Сибири. Не сливаясь полностью с литературой, творчество акынов плодотворно взаимодействует с ней, и это отчетливо проявляется в произведениях писателей Алтая, Тувы, Хакасии, Якутии.

Несколько спорным остается вопрос воздействия фольклора на литературу в будущем. Хотя и трудно прогнозировать в этой области, одно несомненно: значение фольклора как животворного источника национальных литератур вряд ли когда-нибудь им будет полностью утрачено. И это в первую очередь относится к младописьменным литературам Сибири.

⁵⁰ З. Казагачева. Указ. раб., стр. 128.

⁵¹ В. Т. Петров. Указ. раб., стр. 88—89.

⁵² Д. С. Куулар. Указ. раб., стр. 73.

⁵³ М. А. Унгвицкая. Указ. раб., стр. 201.

РЕЦЕНЗИИ

С. Н. ИВАНОВ. КУРС ТУРЕЦКОЙ ГРАММАТИКИ. ЧАСТЬ I. ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

ИЗД-ВО ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Л., 1975, 100 стр.

Современный этап развития языкознания, в частности тюркологии, характеризуется поисками новых путей исследования языка и разработкой методологических основ теорий с целью обобщения и интерпретации большого накопившегося материала по различным языкам мира. К сожалению, значительная часть теоретических работ по языкознанию все еще страдает недостатком, отмеченным А. Мартине: «Ссылка на факты рекомендуется современными теоретиками далеко не всегда»¹. Теоретические работы по языкознанию очень часто основываются на фактах, выхваченных из системы, и не объясняют с единых методологических позиций все частные случаи манифестации конкретных единиц конкретного языка. С другой стороны, не все существующие ныне принципы описания грамматического строя языков достаточно четко обоснованы с мировоззренческих — философских позиций². В рецензируемой книге С. Н. Иванова поднимаются именно такие проблемы современного языкознания, и предлагается практическое решение ряда теоретических и методологических вопросов науки о языке на основании анализа и обобщения разнообразных случаев манифестации словоизменительных форм современного турецкого литературного языка с позиций сознательного и последовательного применения метода диалектического анализа.

Книга задумана автором как учебное пособие по курсу теоретической грамматики турецкого языка и состоит из двух разделов — аналитического (стр. 5—65) и теоре-

тического (стр. 66—97). В трех главах аналитического раздела рассматривается функционирование форм категорий числа, падежа и принадлежности на уровне речи, то есть дается детальный перечень основных типов значения каждой анализируемой формы и контекст их реализации — синтагматические отношения каждой формы при манифестации тех или иных конкретных оттенков значения. Каждый тип значения формы богато иллюстрирован примерами из произведений турецких прозаиков нового и новейшего времени. Подача фактического материала строго подчинена целям исследования — системному анализу значений грамматических категорий; анализируемые оттенки значения каждой формы располагаются в такой последовательности, что каждый тип значения связывается и с предшествующим, и с последующим. Благодаря этому систематизация типов значения формы приобретает характер последовательной цепи постепенно удаляющихся друг от друга звеньев, причем в начале «цепи» располагаются наиболее употребительные, прозрачные и конкретные типы значения формы. Конец этой «цепи» занимают малоупотребительные, «экзотические», наиболее абстрагированные типы значений данной формы, то есть такие случаи функционирования, когда одна форма вплотную приближается к своей противоположности и, по терминологии некоторых тюркологических работ, «выступает вместо другой» («единственное число вместо множественного», «основной падеж вместо родительного и винительного» и т. д.). Систематизация значений каждой формы и категории завершается заключительными параграфами, в которых типы значений формы, описанные в предыдущих параграфах как непрерывная цепь взаимосвязанных и близкородственных оттенков, объединяются в более общие группы. Показывается, как каждая группа значений одной формы противостоит значениям коррелята данной формы (см.: §§ 8, 20, 70, 85, 105). Таким образом, уже при ознакомлении с материалом аналитического

¹ А. Мартине. Основы общей лингвистики. — В кн.: «Новое в лингвистике», вып. III. М., 1963, стр. 368.

² См.: Р. А. Будагов. О предмете языкознания. — «Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка», 1972, № 5, стр. 402; О. С. Ахманова, И. Е. Краснова. О методологии языкознания. — «Вопросы языкознания», 1974, № 6, стр. 34.

раздела читатель получает представление о единстве разнородных, нередко противоположных значений, заключенных в каждой форме, и об их взаимосвязях. Такая подача фактического материала подготавливает читателя к восприятию обобщения и интерпретации этих фактов, с точки зрения диалектической логики, что составляет предмет исследования второго — теоретического раздела книги.

Теоретический раздел работы состоит из десяти хотя и небольших, но весьма содержательных глав. В четырех из них (стр. 66—80) рассматриваются философско-методологические вопросы, связанные с теоретическим обобщением эмпирических фактов в свете учения диалектической логики, показывается соотношение эмпирического и теоретического познания. Здесь же интерпретируются диалектические понятия конкретного и абстрактного, сущностного, общего и чувственного в применении к фактам языка, обосновывается и вскрывается содержание субстанциального подхода к языковым явлениям, освещается характер системных отношений в языке. Эти четыре главы обосновывают диалектическое понимание общего значения формы, ее внутренней противоречиво-двойственной сущности и показывают несводимость диалектического общего значения формы к общему знаменателю ее частных значений. Здесь же вскрывается метафизический, абстрактный и искусственный характер инвариантных значений, получаемых путем последовательного абстрагирования от конкретных значений формы.

Две последующие главы этого раздела («Природа грамматической многозначности», «Характер двойственности форм в грамматической категории с многочленным противопоставлением») и глава «О грамматических категориях с двучленным противопоставлением форм» ставят перед собой цель «показать, каким образом в противоречивой сущности грамматической формы отражается ее многозначность» и «что представляет собой глубинная сущность многозначной грамматической формы» (стр. 80). В этих главах рассматриваются вопросы противоречивой двойственности и сосуществования противоположных значений и функций на примере конкретного анализа системных отношений форм числа, падежа и принадлежности. Здесь же вводится и интерпретируется понятие малого (семантического) и большого (синтаксического) рядов оппозиций грамматической формы.

Три заключительные главы теоретического раздела посвящены критике некоторых понятий современной системной лингвистики (общее и частное значения, учение о привативном характере грамматических оппозиций, различение семантической и синтаксической функций в падежах) в свете сведений и теоретических выводов, полученных при диалектическом истолковании язы-

ковых фактов, изложенных в предыдущих главах.

Таким образом, в рецензируемой книге можно выделить четыре органически взаимосвязанные части: 1) системную подачу материала, 2) обоснование диалектического подхода к исследованию языка, 3) раскрытие диалектического характера взаимоотношений форм на примере конкретного анализа относительно самостоятельных микро-систем числа, падежа и принадлежности, 4) критику метафизического понимания ряда явлений в современной лингвистике.

Объем рецензии не позволяет подробно останавливаться на всех общих и частных проблемах теоретического и практического языкознания, затронутых в этой работе. Поэтому ограничимся изложением некоторых вопросов теории грамматического строя языка, рассмотренных автором.

Одной из сложнейших проблем языкознания является выявление конкретного механизма грамматического выражения взаимоотношения языка и мышления. По мнению С. Н. Иванова, двойственность языка как относительно самостоятельной системы и как формы, оболочки мысли, ограждающей объективную действительность, находит свое конкретное выражение в грамматических формах и категориях, в двойственности их значений (и функций) — одна сторона значений формы мотивирована объективной действительностью, вторая — тяготеет к языковой технике и мотивирована системными отношениями в языке (стр. 91). Поэтому и в *bir kitap*, и в *beş kitap* слово *kitap* может выступать в форме единственного числа (стр. 7). Общеизвестно, что в тюркских языках определение и определяемое не согласуются, поэтому для языковой системы безразлично, выступает ли в качестве определения *bir*, или *beş*, или *iyi* — из-за лексического значения определения (*bir*, *beş*, *iyi*, ...) определяемое не меняет своей формы.

С двоякой мотивированностью функционирования грамматических форм теснейшим образом связаны следующие явления: 1) включение каждой грамматической формы в два ряда оппозиций — в малый и большой ряды (стр. 85—87), 2) наличие семантической и синтаксической функций в грамматических формах (стр. 75—76, 89—91), 3) противоречивая двойственность сущности грамматических форм (и категорий) (стр. 77—87).

Все эти явления настолько взаимосвязаны, что отрывать их друг от друга невозможно. Поэтому неверно ставить вопрос: что первично — двойственность сущности грамматической формы, или двойственность семантической и синтаксической функций в грамматических формах, или же, наконец, включение грамматической формы в два ряда оппозиций? Все они суть проявления двойственности языка как самостоятельной системы и как средства отражения объективной действительности. Поскольку язык как форма мышления отражает объектив-

ный мир, каждая его форма и категория имеют референта в предметах, свойствах, явлениях и отношениях объективного мира, что и составляет семантическую, мотивированную реальным миром, сторону грамматической формы [ср.: значения единичности и простой множественности в формах числа (стр. 5, 8, 9), основной, винительный и родительный падежи как актуализаторы конкретно-предметных и обобщенно-предметных значений, выражение отношений «куда? — где? — откуда?» в так называемых «пространственных» падежах (стр. 80—87), обозначение реальной принадлежности аффиксами принадлежности (стр. 57—61)]. Соответственно семантической функции грамматическая форма является оппозитивной семантически противоположным ей формам, что и составляет малый ряд оппозиций данной формы (основной падеж: винительный падеж; основной падеж: родительный падеж; дательный падеж: исходный падеж; дательный падеж: местный падеж и т. д.). Связь грамматических форм в малом ряду является явной, прозрачной и обусловлена реальным содержанием этих форм. Что касается большого ряда оппозиций грамматических форм, то он объединяет формы, служащие для выражения одинаковых отношений (все падежные формы, все аффиксы принадлежности и т. д.). Функционирование грамматических форм в большом ряду определяется не только их реальным содержанием, но и местом, занимаемым этими формами в системе языка, реализуясь в парадигматических и синтагматических отношениях форм.

В большом ряду формы (и категории) выступают как единицы самостоятельной системы — языка, опосредствованно связанного с отражением объективной действительности, и служат для выражения грамматических отношений (падежи для обозначения объектно-субъектных отношений, формы принадлежности — для выражения партитивно-притяжательных отношений и значения отнесенности, формы числа — для выражения компактности и распределенности и т. д.). Следует заметить, что именно эта сторона грамматической формы является собственно языковым явлением и определяет специфику каждого языка. Малый (семантический) ряд оппозиций какой-нибудь формы может быть одинаковым в ряде разносистемных языков (например, противопоставление единичности как таковой и множественности как таковой свойственно многим языкам мира), тогда как большой (синтаксический, грамматический) ряд оппозиций этой формы составляет то специфическое, что отличает близкие друг к другу формы разных языков.

Признаки противопоставленности грамматических форм в большом ряду не имеют непосредственного референта в предметах, явлениях и отношениях объективного мира и определяются языковой системой.

Поэтому они не даются в процессе наблюдения и вскрываются теоретически, мышлением (см.: стр. 66—76, 87—89). Данные признаки не являются, как это показывает автор в ряде глав рецензируемой книги, общим знаменателем частных значений формы, а выступают как нечто общее, проявляющееся в конкретных манифестациях формы. Именно диалектическое единство синтаксической и семантической сторон и представляет собой противоречивую двойственность сущности каждой формы — если синтаксическая функция сближает некоторые формы, то семантическая функция их разъединяет, и наоборот (например, как формы косвенных объектов дательный, местный и исходный падежи находятся в отношениях дополнительной дистрибуции, но различаются по семантической функции каждого из них).

Анализируя синтаксические функции и синтагматические отношения формы, автор настойчиво подчеркивает, что синтагматические отношения формы не ограничиваются рамками словосочетания или даже предложения (стр. 76). У таких «несинтаксических» категорий, как категории числа, времени, отчасти и принадлежности, синтагматические отношения определяются широким контекстом, который может охватить довольно большой текст [ср.: функции аффиксов принадлежности в составе предложения (стр. 61—62), согласование времен в условном периоде и др.]. Поэтому ограничение синтагматических отношений грамматической формы рамками словосочетания или даже предложения необоснованно сужает синтаксические потенции грамматической формы и ее роль в организации текстов. Если синтаксические функции так называемых «несинтаксических» категорий вскрываются в широком контексте, то у «синтаксических» категорий имеются такие позиции реализации, которые не служат образованию словосочетаний (см. § 103; стр. 90). Ср., например, *beğendiğim sen* 'тот, который нравится мне, это ты' и *beğendiğim sende* 'то, что мне нравится, (находится) у тебя'. Поэтому семантическая и синтаксическая функции в грамматических формах рассматриваются в рецензируемой работе в диалектическом единстве и в тесном взаимодействии (стр. 90).

С диалектическим единством синтаксической и семантической функций в грамматической форме и с ее включением в два ряда оппозиций связана двойственность сущности каждой грамматической формы. Например, дательный и исходный падежи находятся в отношениях дополнительной дистрибуции и являются едиными как формы косвенного объекта (см. пятнадцать пар примеров на стр. 50—51, где один и тот же глагол в одном и том же значении управляет то дательным, то исходным падежом), но оказываются антиподами в своих обстоятельственных, адресатных и исходно-выделительных значениях. Первое явление

обуславливается большим (синтаксическим), второе — малым (семантическим) рядом оппозиций этих форм. Таким образом, двойственность формы проявляется в двойственности ее отношений к другим грамматическим формам и к самой себе. Такое понимание двойственности грамматических форм является существенным шагом вперед, по сравнению с интерпретацией двойственности как наличия противоположных значений в форме; реализация противоположных типов значения в одной форме возможна и является частным случаем проявления двойственности отношений данной формы (стр. 86), обусловленной двойственностью языка как формы мышления и как самостоятельной системы.

Перейдем к рассмотрению другого важного вопроса теоретического языкознания, затронутого в работе С. Н. Иванова, — вопроса о системности языка.

Как известно, говорить о системности языка, не вскрывая характера языковой системы и не определяя взаимоотношения системы и элемента, значит ничего не говорить о системе³. Характер взаимоотношения системы и ее элементов в языке интерпретируется автором как диалектическое взаимоотношение общего и единичного (стр. 71—79), то есть «общее по отношению к единичному — это та система связей, в которую включено данное единичное» (стр. 71). Взаимоотношения общего и единичного являются диалектическими и переходят друг в друга. Например, в дательном падеже:

1) при обозначении пункта направления как общее выступает противопоставление дательного и исходного падежей в малом (семантическом) ряду, то есть отношения «куда? — откуда?», 2) при реализации абстрактно-объектных значений (§§ 59—68) — как общее выступает противопоставление «косвенный объект (дательный, местный, исходный падежи): прямой объект (основной, винительный падежи)».

Последнее противопоставление в большом (синтаксическом) ряду может заключать в себе как единичное и отношения «куда? — откуда?». Диалектическое единство этих двух отношений наглядно выступает в адресатных и исходно-выделительных типах значений дательного и исходного падежей (для дательного падежа, например, это тип значения «косвенный объект + направительное значение = косвенный объект, к которому направлено действие или его результат, то есть адресат»).

Понимание системных отношений в языке как взаимоотношения общего и единичного объясняет причины иерархической организации языковых уровней (и грамматических категорий), когда каждая нижестоящая единица выступает как единичное по отно-

шению в вышестоящему общему и открывает новые перспективы изучения разнообразных типов взаимодействия грамматических форм тюркских языков.

Считаем излишним подробно говорить о том, что понимание системных отношений в языке как диалектического взаимоотношения общего и единичного гармонирует с диалектикой синтаксических (общих для ряда форм) и семантических (специфических для каждой формы) функций в грамматической форме, а также с противоречивой двойственностью каждой формы (в каждой форме есть то общее, что объединяет ее с другими, и то специфическое, что отличает ее от других) (см. стр. 72).

Общее понимается в рецензируемой работе, как такое же конкретное и материальное, как единичное (стр. 71—72). С подобным пониманием общего в диалектической логике теснейшим образом связана субстанциальная интерпретация грамматических форм (стр. 73—77). Субстанциальный и контекстуальный подходы к морфологическим единицам различаются тем, что при субстанциальном подходе грамматическая форма рассматривается как носитель всех своих значений и функций, которые существуют в этой форме как ее атрибуты «досинтаксические» и в синтаксическом употреблении последней лишь проявляются. При контекстуальном подходе принимается, что те или иные оттенки значения формы возникают в определенном контексте и вне этого контекста не существуют. Субстанциальный подход требует нахождения того общего, которое проявляется через частные манифестации и на основании которого грамматическая форма вступает в различного рода отношения на уровне языка. Контекстуальный подход ограничивается установлением контекста каждого типа (или оттенка) значения формы и не ставит перед исследователем задачи вскрытия того реально общего, что обеспечивает каждой форме определенную самостоятельность.

Последовательно применяя к фактам языка диалектические категории субстанции, свойства и отношения, С. Н. Иванов обосновывает принципы субстанциальной интерпретации морфологических категорий тюркского языка: «Если грамматическую форму рассматривать как предмет, то есть как нечто, имеющее отдельное бытие, то нужно будет признать, что она обладает известной субстанцией, сущностью, складывающейся из ее свойств (значений), которые проявляются в ее отношениях, то есть в ее функционировании» (стр. 74). Субстанциальным характером грамматических форм легко объясняется диалектическое единство семантических и синтаксических функций, парадигматических и синтагматических отношений формы, а также единство морфологии и синтаксиса. Диалектическое единство морфологии и синтаксиса в строе языка выражается в том, что «значения (грамматических форм. — Авт.) проявляются, поскольку они закреплены (в морфологии. —

³ В. А. Виноградов. Всегда ли система системна? — В кн.: «Система и уровни языка». М., 1969, стр. 250.

Авт.), а закреплены, поскольку они проявляются (в синтаксисе. — Авт.)» (стр. 76).

Как видно из сказанного, в рецензируемой работе такие важные стороны грамматической формы, как ее семантическая и синтаксическая функции, языковое (системное) и речевое (контекстуальное), общее и частное значения, двойственность ее сущности, ее отношения к другим формам, а также вопросы характера системных отношений в языке и единства морфологии и синтаксиса рассматриваются с единых методологических позиций — с позиций диалектической логики, при этом раскрывается тесное взаимодействие этих сторон в языке. Принципы изучения морфологического строя турецкого языка, предложенные С. Н. Ивановым, не отрицают практикуемых тюркологами методов описания тюркских языков, а развивают их, вбирая в себя лучшие элементы достигнутого. Скрупулезный и объективный подбор фактов, их систематизация и описание должны дополняться интерпретацией этих фактов в свете единых методологических принципов. В свою очередь методологические принципы

лингвистического анализа должны быть обоснованы и оценены с мировоззренческих — философских позиций.

В заключение следует сказать, что в эпоху, когда перед тюркским языковедением стоят важные и трудные проблемы обобщения и интерпретации большого фактического материала по различным тюркским языкам, появление нового труда, поднимающего методологические вопросы изучения сущности грамматических форм, является очень своевременным и будет способствовать развитию нового этапа изучения системы тюркских языков с последовательных позиций материалистической диалектики. Работа С. Н. Иванова «Курс турецкой грамматики», представляющая собой результат дальнейшего развития методологических изысканий автора, послужит важным учебным пособием при подготовке исследователей тюркских языков.

*М. М. Мирзаев, А. Б. Абдуллаев,
Э. Р. Куличев, Х. Г. Нигматов*

Ф. А. ГАНИЕВ. СУФФИКСАЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ТАТАРСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

ТАТАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗД-ВО, КАЗАНЬ, 1974, 232 стр.

Во введении к книге Ф. А. Ганиев следующим образом формулирует свою задачу: «Определение теоретических основ разработки проблемы словообразования в современном татарском языке». Далее автор пишет, что он попытается также: «установить круг аффиксов, участвующих в образовании производных слов отдельных частей речи, установить, где это представляется возможным, этимологию основных суффиксов, определить словообразовательные типы в каждой части речи, определить модели каждого словообразовательного типа» (стр. 5—6). Фактическое содержание книги в основном соответствует этим авторским установкам.

В первой главе «Теоретические вопросы словообразования в современном татарском языке» выделены разделы: «Пути развития лексической системы современного татарского языка», «Способы словообразования», «Словообразовательная структура слов» и др. Эти разделы, хотя их содержание и соответствует названиям, к сожалению, несколько лаконичнее (всего 40 страниц). В книгу не вошла (по причинам, не зависящим от автора) также глава о глагольном словообразовании, и в ней освещаются

лишь вопросы аффиксального (автор пишет «суффиксального») словообразования имен существительных, прилагательных и наречий. Этимологические экскурсы сводятся к изложению мнений некоторых тюркологов о происхождении того или иного аффикса и к очень краткому высказыванию не всегда и не во всем бесспорного мнения самого автора.

Тем не менее книга Ф. А. Ганиева — значительное явление в татарском языковедении. Она посвящена актуальным проблемам, отличается ясностью композиции, конкретностью постановки вопросов. Автор справедливо критикует соответствующие работы татарских языковедов за слабую разработку отдельных вопросов и теории словообразования (стр. 14) и пытается восполнить эти пробелы.

Ф. А. Ганиев считает теорию словообразования самостоятельной лингвистической дисциплиной (стр. 17—19) и довольно убедительно обосновывает эту точку зрения (стр. 19—21). По его мнению, существует шесть основных способов словообразования: *суффиксальное, словосложение, фонетическое, лексико-семантическое, сложно-суффиксальное, лексико-грамматическое.*

Кроме того, как новые явления упоминаются *префиксальное словообразование* (стр. 29—30) и *аббревиация* (стр. 37—38).

Этой классификации, на наш взгляд, свойственна некоторая неточность: вряд ли правомерно включение в один ряд с другими способами «фонетического словообразования». **Во-первых**, как известно, новые основы слов с мотивированным значением (при синхронном рассмотрении) образуются любым обычным способом. При фонетическом (вернее — историко-фонетическом) словообразовании, конечно, также «образуются новые слова (дублеты), но их значения остаются немотивированными». Например: слова *dāw-dāw* 'несколько больших, огромных', *dāwlik* 'величина, громадность', *dāwāj-* 'стать большим, старшим', образованные типичными средствами словообразования, точно так же, как и слово *dāwṁālī*, образованное при помощи единичного (в данном случае) аффикса *-mālī*, воспринимаются говорящими на татарском языке вполне однозначно как дериваты от слова *dāw* 'большой, огромный, старший'. А вот исторически однокоренное с этими словами, но созданное «фонетическим способом» слово *dīī* 'див, демон' в сознании говорящих никак не связывается с *dāw* (но ср. ккалп, казах. *təw*, *dəw*, кумык. *dəw*, кирг. *dəw* 'див, великан; великий' — из перс. *dēw* 'див'). **Во-вторых**, система обычного словообразования складывается в процессе исторического развития данной языковой системы в целом, а историко-фонетическое словообразование, то есть возникновение лексических дублетов и триплетов, наблюдается в области интерференции двух языковых систем. Например, отсутствие исконных *j* и *x* вообще и *γ-*, *g-* и *d-* в афлауте в фонетической системе древнетатарско-кыпчакского языка и наличие таковых в письменном языке — в ходе взаимовлияния систем разговорного и письменного языков привело к появлению следующих дублетов на основе иноязычных заимствований: *bata* 'надгробная надпись, родительское благословение' — *fatixa* (араб.) 'благословение', *qawṁa* 'барабан тревоги' — *qawṁa* (араб.) 'скандал', *kūtmān* 'беременность' — *gūtmān* (перс.) 'подозрение, предположение'; *tajra* 'родословная; группа родственников' — *ta'ifā* (араб.) 'группа, отряд'; *dībīt* 'козий пух, тифтик (первоначально — ячий пух из Тибета)' — *tūbīt* 'мастиф (порода грузных собак из Тибета)'; *šapaqaj* 'клоун, циркач (первоначально — циркач из г. Шемахи)' — *šāmāxā* 'фиолетовый (цвет шемахинских шелков)' и т. д. Интерференция болгарско и кыпчакско-татарской языковых систем породила дублеты *xāsītā* 'медальон, в котором хранилась ода в честь владелицы-девушки' — *qasidā* 'касыда, ода

(как литературный жанр)'; *šūršā* 'шмель' (ср. чув. *sāvāsa*, *šāvāšā id*) — *saṁṁzaq* 'шершень, шмель'; *šikme* 'обрешетка' (чув. *šikme id*) — *tikmā* 'тын' и др.

Ф. А. Ганиевым подробно разработан раздел о суффиксальном словообразовании вообще (стр. 47—62). Он считает, что суффиксы следует подразделять на производительные и непроизводительные, а термины «продуктивный» и «непродуктивный» употреблять при характеристике абсолютной активности аффиксов (стр. 58—59). Действительно, эти пары понятий могут не совпадать, то есть продуктивный аффикс (образовавший в прошлом большое количество слов) в настоящее время может быть непроизводительным.

Наряду с этим в тюркских языках следует различать еще регулярные и нерегулярные аффиксы. При регулярном словообразовании сам словообразовательный формант определяет лексическое значение новообразования. Так, например, татарский аффикс *-yṁsyz* (образует отглагольные прилагательные со значением «такой, что нельзя сделать то-то»: *äjlänäsīn at čäbyp uzṁsyz zur*, *üstünä qūš üṁyp qunṁsyz bījik šāhār* 'город, который так обширен, что не обехать на лошади, и так высок, что не сесть птицам на крыши'); аффикс *-syzlyq* (образует прилагательные со значением «положение, когда нет того-то», например: *üstäl-sizlik* 'положение, когда нет стола', *karandašsyzlyq* 'отсутствие карандаша'); аффикс *-yšly* [образует отглагольные имена — названия игр, например: *aştan šun kul čäbyšly*, *tajaq tartyšly uṁnnary buldy* (А. Таиров) 'после еды состоялись игры «битие рук» и «перетягивание палок»].

Ф. Ганиев, по-видимому, не проводит четкой грани между регулярными аффиксами и аффиксами «стилистическими» и грамматическими (стр. 47—53). Однако такая позиция, в силу ее новизны, требовала более убедительного обоснования.

Основная часть книги Ф. А. Ганиева посвящена исследованию каждого аффикса в отдельности. Автор уделяет большое внимание истории изучения аффиксального словообразования и не только в татарском, но и в других тюркских языках. Исследуя конкретный языковой материал и желая как можно точнее и объективнее его проанализировать, он обращается к статистическим методам анализа, сводит полученные наблюдения в таблицы, такие, например, как «Количество приведенных в тюркологии суффиксов, образующих существительные» (табл. 6, стр. 65), «Количество указанных в татарском языкознании суффиксов, образующих существительные» (табл. 7, стр. 66), «Процентное соотношение производящих основ суффикса *-чы* по частям речи»² (табл. 8, стр. 69) и т. д. Всего 46 таблиц. Значения аффиксов автор приводит

¹ В данной статье буква *й* в транскрибированных словах, набранная темным шрифтом, означает краткость произношения данного звука.

² В тех случаях, когда указывается источник, сохраняется орфография источника.

по моделям словообразования, то есть по лексико-грамматическим характеристикам производящих и лексическим значениям произведенных основ. Таким способом Ф. А. Ганиев устанавливает, например, 22 значения аффикса *-чы*. Подобная скрупулезность исследования придает убедительность выводам автора и является несомненным достоинством книги.

Однако и к этой основной части хотелось бы сделать несколько замечаний.

Ф. А. Ганиев исследует аффиксы по рубрикам «производительные», «непроизводительные», «нерасчлененные» и «заимствованные». Однако ведь и среди заимствованных аффиксов (куда он относит только русские и арабо-персидские, забывая о монгольских аффиксах) есть, наверняка, «производительные» и «непроизводительные».

Увлечение автора этимологизацией иногда приводит к постулированию несуществующих значений и несуществующих аффиксов. Так, например, указывая 21-е значение аффикса *-чы* («присоединяясь к глаголам, выражает значение лица»), Ф. А. Ганиев приводит примеры: *üläščï* 'разносчик', *küzätčï* 'разведчик', *bulyšçu* 'помощник'. Здесь производящие основы не глаголы, как считает автор, а существительные: *üläš* 'часть, доля, надел' (Рдл. I, 1847—1848), *küzät* 'разведка', 'караул' (тат. диал., ногайск.), *булыш* 'помощь' (ТТДС, 96). На стр. 114 слово *уш* 'дрова' автор относит к словам на *-ул*. Между тем по своему исходному звучанию это слово на *-иш* (Рдл. I, 1126: *одун*; МК, I, 134: *otung*), и этимология его, вероятно, более сложная. То же самое можно сказать о слове *рйш* 'сено', которое Ф. А. Ганиев искусственно разложил на основу *рйс* 'резать' и аффикс *-ш* (стр. 115). Между тем как фонетические, так и смысловые вариации этого слова говорят о другом: см., например, тат. диал. *печин*, *песчан* 'сено, трава' (ТТДС), сиб. тат. *پيچان* 'сеновал, ясли' (Гиг.), марийск. *писен*, *пилсен*, *пилчен* 'сено, осот', чув. *пицен* 'шиповник', тат. *biščän* 'осот', которые, вероятно, восходят к монгольскому *belči* 'пастись', 'кормиться'; ср. якутск. *bälčiräñ* 'пастбище' (Пек., 1551), древнемонг. *belčil* 'пастбище, ясли, сеновал' (Зам., 116).

Большие сомнения вызывает и аффикс *-а/-э* (стр. 122). Приведенные автором примеры неразложимы и имеют разное происхождение [*ata* 'отец', *apa* 'мать', *baka* 'лягушка' и др. являются исконно тюркскими корнями; *tapa* 'телка' — из древнеиранских языков, *kipä* 'злопамятность' — из персидского; слово *јага* 'рана' происходит, вероятно, не от *-јаг* 'разрезать, расколоть', а от перс. *јага* 'колодка, наручник'; 'рана на месте колодки' (Platt); слово *јуа* 'дикий лук; дикий чеснок' происходит от персидского *јауаи* 'дикий' и пр.]. Нет ни одного убедительного примера и с аффиксом *-ы/-е* (стр. 123). Приведенные автором слова — либо результат фонетической редукции (*йле*

'мертвый' из *ölig*, *tary* 'просо' из *taryu*, *ütï* 'утюг' из *ütüg*, *kuzu* 'гречкий орех, кокон, куколка' из *kozyu*), либо неразложимые основы (*kışi* 'человек', *ügu* 'короста', *ükï* 'сова') либо заимствования (*bügi* 'волк' из древнеиранских языков, *дary* 'порох' из перс., *дary-i miltiq* 'снадобья для ружья', *дary* 'снадобье').

По всей вероятности, не существует и аффикса *-чы/-че₂* (стр. 131); слово *tamçu* 'капля' происходит не от глагола *tam-* непосредственно, а из слова* *tamčuy* 'капелька, комочек' (ср. совр. тат. диал. *tamla-*, чув. *tumla* 'капать', тат. лит. *tam* 'глиняный забор' из древн. *tam* 'комья глины'), а слово *qamčy* 'кнул' возникло путем элизии описательного названия *qamčy çubygysy* 'плеть шамана' [см. общетюрк. *qam* 'камлание', караимск. *qamčy* 'шаман', кирг. *qamčy* 'плеть шамана' (Абрамзон, 315)].

Ф. А. Ганиев часто выленяет «суффиксы» на основании одного-двух примеров (притом с неясной основой). Между тем о наличии аффикса можно говорить лишь при существовании не менее трех примеров, содержащих данную словообразовательную морфему, которая присоединяется во всех случаях одинаковым образом к известным основам слов, то есть когда налицо действенная модель словообразования. У Ф. А. Ганиева же суффиксы *-дә*; *-ра/-рә*, *-гыз/-гез* (стр. 140), *-биз* (стр. 14), *-кыт*, *-рак/-рәк*, *-рәм*, *-тан/-тән*, *-тал/-тәл*, *-лан*, *-әнә* (стр. 142), *-дырк*, *-ба*, *-авыт* (стр. 143), *-ала* (стр. 206), *-а/-ә*, *-әш* (стр. 207), *-чу* (стр. 286) не удовлетворяют этим условиям, а данные этимологи опровергают их существование (за недостатком места производить здесь проверку примеров Ф. А. Ганиева по этимологическим словарям М. Рясенена и Э. В. Севортяна не представляется возможным).

Досадно также, что порой Ф. А. Ганиев не учитывает все словарное богатство татарского языка. На стр. 99 он пишет: «Отглагольный суффикс *-ак*, *-к*, возможно, имеет место еще в словах *тайак* 'палка', *тулгак* 'схватка', *ыргак* 'крючок'». Производящие основы первых двух слов — глаголы (*taja-* 'подпереть', *tulça-* 'схватываться судорогой') хорошо известны и в литературном языке. Что касается слова *уғaq*, то оно образовано от глагола *уг-* 'прорыть борозду, сделать паз' при помощи аффикса *-yak* (Хаб., 144). Слова *jalqup* 'пламя' и *bugan* 'буря, буран' также имеют живую (диалектальную) глагольную основу *jalqu-* 'пылать' и *buga-* 'бушевать', что не указывается автором (см. стр. 114—115). Слово *tarlaw* толкуется как 'речушка, текущая по узкому оврагу' (стр. 126). Между тем это значение относится к слову *tarlawuq*, а *tarlaw* означает «поле среди леса» (оно образовано не от *tar* 'узкий', а от древнего **tar-* 'заниматься земледелием', откуда также тат. *tary* 'просо' и *tarlan* 'заброшенное поле').

О «суффиксе» *-man/-mān* Ф. А. Ганиев замечает, что он встречается в немногочис-

ленных словах. Между тем в просторечье этот аффикс (кстати, хорошо осознающийся говорящими) довольно продуктивен. При его помощи образуются такие слова, как *basmaп* 'маленькая лопата' (*bas-* 'копать'), *küsmäп* 'рулевое весло', *tüsmäп* 'лепешка', *bilätmäп* 'человек-всезнайка', *kitmäп* 'кетмень, мотыга', *džäjmäп* 'одеяло' (*džäj-* 'стелить'), *qartamaп* 'старый разбойник', *qabaгmaп* 'вспыльчивый', *ašmaп* 'повар', *qagašmaп* 'очень смуглый', *hünätmäп* 'мастер на все руки', *julaп* 'сопровождающий путешественников', *aгmaп* и *tuгmaп* — названия месяцев и т. п. По мнению Ф. А. Ганиева, суффикс *-aуaп* встречается всего лишь в одном слове *jataуaп* 'домосед'. Однако хорошо известны еще слова *qabaуaп* 'кусака (о собаке)', *qacaуaп* 'часто убегающий из стада (о скоте)', *tibägäп* 'брыкливый (о скоте)'. Точно так же аффикс *-dar* встречается не только в имени *Ajdar* (стр. 207), но и в словах *ildar* 'имеющий Родину', *wafadar* 'имеющий чувство ответственности', *qüldar* 'рабовладелец' и т. п. Аффикс *-qul/-kel*, *-yul/-gel* вычленяется не только из слова *quсqul* 'темно-бурый' (стр. 187), но и из слов *taгyul* 'с красными полосами', *tutqul* 'с темными крапинками', *sipkil* 'веснушки', *timgil* 'с пятнами' и т. д.

Стремясь к исчерпывающему перечислению аффиксов, Ф. А. Ганиев тем не менее упустил из виду такие аффиксы имен существительных, как *-kač/-käč*, образующий названия лиц: *bäläk'äč* из *balaqäč* 'малыш', *bäğäk'äč* 'барашек, ягненок', *maturqäč* 'красавец, красавица' и др.; *-туq*, образующий названия болезней и неприятных предметов

(*quзamuq* 'корь', *qaramuq* 'черная оспа', *saгumtuq* 'желтуха'). Из аффиксов прилагательных следовало указать *-luqlu/-likli* (*danlyqlu* 'прославленный', *išlikli* 'деловой', *izlikli* 'последовательный' при отсутствии слов *danlyk*, *išlik*, *izlik* и др.), *-kylt/-kilt*, *-yult/-gilt* (*quzyult* 'красноватый', *jäškilt* 'зеленоватый', *saгyult* 'желтоватый', *qaruyult* 'черноватый') и *-yldžym/-ildžim* (*qaraldžym* 'темноватый', *kügildžim* 'синего оттенка') — ведь оттенки цветов — это не оттенки значения и данные слова не являются стилистическими вариантами слов *quzuл* 'красный', *qaга* 'черный' и пр. Не указаны аффиксы наречий *-qaryl/-käri*, *-yaryl/-gäri* (*tušqary* 'наружу' при *tuš* 'наружная сторона', *aлyary* 'вперед' при *ald* 'перед' и др.), *-ra/-rā* (*sünra* 'потом' при *sün* 'конец', 'край').

Отмеченные недостатки не умаляют научного и практического значения книги, в которой проработан огромный материал. Достаточно сказать, что Ф. А. Ганиевым дан научный анализ около двухсот аффиксов. Им впервые раскрыта полная картина современного татарского именного и наречного суффиксального словообразования.

Книга Ф. А. Ганиева представляет значительный интерес не только для татарского языкознания, но и для тюркологии в целом. К сожалению, невелик тираж издания (всего 1000 экз.). Следует надеяться, однако, что столь нужный и обстоятельно написанный труд будет переиздан в дополненном виде, то есть с включением глагольного словообразования.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Абрамзон — С. М. Абрамзон. Киргизы и их этногенетические связи. Изд. «Наука». М., 1972.

Гиг. — И. Гиганов. Словарь российско-татарский. СПб., 1804.

Зам. — Замахшари. Мукаддиманг ал-адаб (монгольско-чагатайский словарь), I—II. М.—Л., 1938—1939.

МК — Mahmud Kaşgari. Divan-ü lügat et türk terçumesi, I—III. Stambul, 1939—1941.

Пек. — Э. К. Пекарский. Словарь якутского языка. М.—Л., I—III, 1959 (переиздания).

Рдл. — В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, I—IV. СПб., 1888—1910.

ТТДС — Татар теленең диалектологик сүзлеге. Казан, 1969.

Хаб. — М. Хабичев. Карачаево-балкарское именное словообразование. Черкесск, 1971.

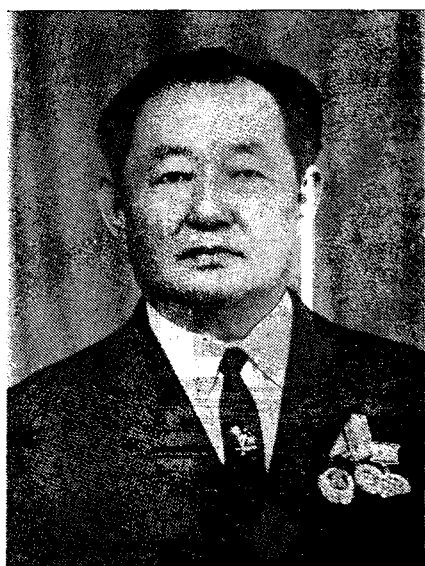
Platt — A. I. Platt. A dictionary of urdu, classical Hindi and english, I—II. Лондон—Москва, 1949.

Р. Г. Ахметьянов

PERSONALIA

КУСАИН КАРАСАЕВИЧ КАРАСАЕВ

(К 70-летию со дня рождения)



Исполнилось 70 лет со дня рождения и 50 лет научно-педагогической, творческой и общественной деятельности профессора Кыргызского государственного университета имени 50-летия СССР Кусайна Карасаевича Карасаева.

К. К. Карасаев родился 22 октября 1905 года в кишлаке Кен-Суу нынешнего Тюпского района Иссык-Кульской области Кыргызской ССР в семье крестьянина-середняка.

В 1914 году поступил в «русско-туземную школу» в городе Пржевальске, где получил начальное образование на русском языке.

В 1916 году, после подавления киргизского восстания царизмом, семья К. Карасаева бежала в Китай, в Синь-Цзянскую провинцию. Здесь мальчик сначала работал пастухом у калмыцких баев, а потом в течение трех лет обучал детей местных казахов. В 1921 году, после установления Советской власти в Киргизии, К. Карасаев возвращается на Родину. Первое время он работает

в системе культпросветучреждений, в дальнейшем его назначают на должность заместителя председателя Кен-Суйского сельревкома. Осенью 1923 года он уезжает в Ташкент и поступает на подготовительное отделение Кыргызского института просвещения (Кириппрос).

В 1924 году, в связи с образованием Кара-Киргизской автономной области, в Ташкенте стала выходить первая киргизская газета «Эркин-Тоо». К. Карасаев стал одним из первых литсотрудников и активным корреспондентом этой газеты. Одновременно он избирается членом бюро переводчиков и рецензентов, созданного при секторе печати Средне-Азиатского бюро ЦК ВКП(б). В 1927 году на страницах газеты «Эркин-Тоо» была напечатана его первая статья — «О технике перевода».

В 1927 году К. Карасаев в составе киргизской делегации участвует в работе состоявшегося в Баку пленума Центрального Комитета Нового тюркского алфавита.

В 1928 году, после окончания Кириппроса, К. К. Карасаев поступает в Ленинградский восточный институт им. Енукидзе. В это же время в соавторстве с И. Арабаевым он подготавливает на основе латинского алфавита первый букварь для взрослых — «Жанылык» («Новость»). Экземпляр этого букваря в настоящее время хранится среди экспонатов Музея революции в Москве.

Успешно окончив восточный институт, К. Карасаев становится научным сотрудником Кыргызского научно-исследовательского института культурного строительства. В 1931 году, во время научной командировки в Иссык-Кульскую область, К. К. Карасаев знакомится со сказителем эпоса «Манас» Саякбаем Каралаевым, приглашает его во Фрунзе. Здесь организуется запись текста эпоса «Манас» в исполнении знаменитого сказителя.

В 1935 году К. К. Карасаев в соавторстве с И. Батмановым составляет первый школьный «Русско-киргизский словарь».

Успешно защитив в 1944 году кандидатскую диссертацию, К. К. Карасаев в соавторстве с Д. Шукуровым, под редакцией

К. К. Юдахина, составил «Русско-киргизский словарь», ставший настольной книгой переводчиков, журналистов и научных работников республики. В 1965 году вышел из печати его большой «Орфографический словарь киргизского языка» (60 000 слов). С 1927 по 1965 г. К. К. Карасаев, прекрасный знаток киргизской лексики, постоянно помогал К. К. Юдахину — составителю широко известного «Киргизско-русского словаря», который в 1965 году был удостоен Государственной премии СССР.

Тридцать с лишним лет К. К. Карасаев читает лекции по современному киргизскому языку в средних и высших учебных заведениях Киргизии, а также по истории киргизского языка, лексикографии и современному киргизскому языку в Ташкентском, Московском и Ленинградском университетах.

В 1966 году К. К. Карасаеву было присвоено звание профессора. К. К. Карасаев активно участвует в создании программ, учебников и учебных пособий по современному киргизскому языку для школ, средних и высших учебных заведений республики, является членом Ученого совета Киргизского государственного университета имени 50-летия СССР.

Перу К. К. Карасаева принадлежит около ста научных работ. Он не только педагог, ученый, журналист, но и широко известный в республике пропагандист науки.

К. К. Карасаев прекрасный переводчик художественной литературы на киргизский язык. Ему принадлежат переводы произведений М. Горького, А. Радищева, Дж. Родари, Л. Крючковского, Р. Тагора, русских и китайских народных сказок и др.

Заслуги профессора К. К. Карасаева отмечены высокими правительственными наградами: орденом Трудового Красного Знамени, медалями, пятью Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, Почетной грамотой Президиума Академии наук СССР.

Постановлением Президиума Всесоюзного общества «Знание» имя профессора К. К. Карасаева занесено во Всесоюзную книгу почета Народных университетов (1966 г.).

Коллеги и ученики профессора К. К. Карасаева от всего сердца желают ему доброго здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов в работе.

З. Б. Бектенов

Х Р О Н И К А

П Р О Г Р А М М А

ТРЕБОВАНИЙ ПО ТЮРКСКОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ АКАДЕМИИ НАУК СССР

9 декабря 1975 года на заседании сектора тюркских языков Института языкознания Академии наук СССР, проходившего под председательством заведующего сектором доктора филологических наук Э. Р. Тенишева, была рассмотрена и одобрена подготовленная сотрудниками сектора докторами филологических наук Н. А. Баскаковым и Э. В. Севортыном «Программа требований по тюркскому языкознанию для поступающих в аспирантуру Академии наук СССР».

Ниже публикуется текст Программы.

Поступающие в аспирантуру Академии наук СССР по специальности «Тюркское языкознание» должны иметь законченное высшее филологическое образование и быть знакомы с перечисленной ниже основной литературой по тюркологии.

На вступительных экзаменах поступающий в аспирантуру Академии наук СССР по тюркскому языкознанию должен продемонстрировать систематические знания по нижеследующим основным специальным дисциплинам:

1. История изучения тюркских языков в России и СССР.
2. История и диалектология тюркского конкретного языка специальности.
3. Фонетика, морфология и синтаксис тюркского конкретного языка специальности.
4. Классификация тюркских языков и расселение тюркоязычных народов.

Литература для изучения

1. Н. А. Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1969.
2. В. А. Богородицкий. Введение в татарское языкознание. Казань, 1934, 2-е издание. Казань, 1953 (гл. I, III, V—XI).
3. Н. К. Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962 (статьи: «Указательные местоимения в башкирском языке», «К изучению турецкой мимологии», «Служебные имена в турецком языке», «Категория падежа», «Категория наклонения», «О категории грамматического рода в азербайджанском языке», «О тюркских элементах русского словаря»).
4. Н. К. Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М., 1948 (разделы: «Основные морфологические понятия», «Основные синтактико-морфологические категории», «Общая характеристика именных частей речи», «Общие сведения о глаголе», «Основные вопросы синтаксиса про-

стого предложения», «О придаточных предложениях в башкирском языке»).

5. А. Н. Кононов. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.—Л., 1956 (разделы: «Введение», «О частях речи», «Формообразование глагола», «Предложение»).

6. А. Н. Кононов. История изучения тюркских языков в России. Л., 1972 (общее ознакомление с книгой и изучение раздела, относящегося к специальности аспиранта).

7. С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. М.—Л., 1951 (вводная статья).

8. Э. В. Севортыан. Фонетика турецкого языка. М.—Л., 1955 (изучение основных теоретических положений).

9. Э. В. Севортыан. Этимологический словарь тюркских языков. М., 1974 (вводная статья).

10. «Языки народов СССР», т. II. М., 1967 (вводная статья и очерк по языку специальности).

Литература для ознакомления

1. Н. А. Аристов. Заметки об этническом составе тюркских племен. — «Живая старина», вып. III—IV. СПб., 1896.

2. Л. Будагов. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, тт. I—II. М., 1962.

3. В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, тт. I—IV. М., 1968.

4. «Древнетюркский словарь». Л., 1969.

Кроме указанной выше специальной общей литературы, поступающий в аспирантуру Академии наук СССР по специальности «Тюркское языкознание» должен быть знаком с основной литературой по тому конкретному тюркскому языку, по которому он будет специализироваться во время прохождения аспирантуры.

СОДЕРЖАНИЕ

СТРУКТУРА И ИСТОРИЯ ЯЗЫКА

Н. Г. Агазаде (Баку). Сопоставление как основной метод типологического исследования	3
Э. А. Грунина (Москва). К истории семантического развития перфекта -miş	12
Э. Р. Тенишев (Москва). Отражение диалектов в тюркских рунических и уйгурских памятниках	27

ЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ

А. Н. Гаркавец (Киев). Уподобление армяно-кыпчакского глагольного имени на -gaп славянскому причастию и его синтаксические последствия	34
--	----

ОНОМАСТИКА

Б. Чарьяров, С. Аганиязов (Ашхабад). Диалекты и туркменская антропонимия	42
--	----

СООБЩЕНИЯ, ОБЗОРЫ

М. Б. Мамедов (Баку). О некоторых особенностях публицистического стиля	49
Л. Р. Кызласов, И. Л. Кызласов (Москва). Средневековая пограничная надпись с низовьев Уйбата (Хакасия)	58
С. Г. Кляшторный (Ленинград). Руническая эпиграфика Южной Сибири (На скальные надписи Телсея и Турана)	66
Д. Д. Васильев (Москва). Памятники тюркской рунической письменности азиатского ареала	71
Д. М. Насилов (Ленинград). Памятники древнетюркской письменности (орхоно-енисейские и древнеуйгурские) в отечественных тюркологических исследованиях последних лет	82
М. А. Унгицкая (Абакан). Проблема фольклоризма и литературы тюркских народов Сибири	102

РЕЦЕНЗИИ

М. М. Мирзаев, А. Б. Абдуллаев, Э. Р. Киличев, Х. Г. Нигматов (Бухара). С. Н. Иванов. Курс турецкой грамматики	113
Р. Г. Ахметьянов (Казань). Ф. А. Ганиев. Суффиксальное словообразование в современном татарском литературном языке	117

PERSONALIA

З. Б. Бектенов (Фрунзе). Кусаин Карасаевич Карасаев	121
---	-----

ХРОНИКА

Программа требований по тюркскому языкознанию для поступающих в аспирантуру Академии наук СССР	123
--	-----

CONTENTS

STRUCTURE AND HISTORY OF LANGUAGE

- N. G. Agazade* (Baku). Comparison as a main method of typological investigations 3
E. A. Grunina (Moscow). On the history of semantic development of perfect -miş 12
E. R. Tenishev (Moscow). Reflection of dialects in turkic runic and uigur records 27

LANGUAGES IN CONTACT

- A. N. Garkavets* (Kiev). Assimilation of the armeno-kypchak verbal noun on -gan to the Slav Participle and its syntactic consequences 34

ONOMASTICS

- B. Charyarov, S. Ataniyazov* (Ashkhabad). Dialects and Turkmen antroponymics 42

REPORTS, SURVEYS

- M. B. Mamedov* (Baku). On some peculiarities of publicistic style 49
L. R. Kyzlasov, I. L. Kyzlasov (Moscow). Medieval border inscription from the lower Ujbat 58
S. G. Klashtorny (Leningrad). Runic epigraphics of South Siberia (Inscriptions on the Tepsey and Turan rocks) 66
D. D. Vasilyev (Moscow). Turkic runic manuscripts of asiatic area 71
D. M. Nasilov (Leningrad). Ancient turkic manuscripts (orkhono-enisey and old uigur) in recent turkological investigations 82
M. A. Ungvitskaya (Abakan). Problem of folklorism and literature of turkic peoples of Siberia 102

REVIEWS

- M. M. Mirzayev, A. B. Abdullayev, E. R. Kilichev, Kh. G. Nigmatov* (Bukhara). *S. N. Ivanov* The Course of Turkish grammar 113
R. G. Akhmetyanov (Kazan). *F. A. Ganiyev*. Derivation through suffixes in modern tatar literary language 117

PERSONALIA

- Z. B. Bektenov* (Frunze). Kusain Karasayevich Karasayev 121

CHRONICLE

- The Programme on the turkic linguistics for postgraduate course in the Academy of Sciences of USSR 123

Технический редактор *Б. А. Абдуллаев*

Рукописи не возвращаются

Корректоры *Э. Я. Алиева, Ф. М. Джавадова, С. В. Лисикова*

Сдано в набор 12/IV 1976 г. Подписано к печати 25/V 1976 г. ФГ 12244. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бум. л. 4. Физ. печ. л. 8. Усл. печ. л. 11,2. Уч. изд. л. 10,4.
Заказ 1884. Тираж 3105. Цена 1 руб.

Типография издательства «Коммунист», ул. Авакяна, 529 квартал

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФОНЕТИЧЕСКАЯ
ТРАНСКРИПЦИЯ НА ОСНОВЕ ЛАТИНСКОЙ
ГРАФИКИ, ПРИНЯТАЯ РЕДАКЦИЕЙ ЖУРНАЛА
«СОВЕТСКАЯ ТЮРКОЛОГИЯ»

ГЛАСНЫЕ

A a — а
Ä ä — э
E e — е
У у — ы
I i — и
O o — о
Ö ö — ө
U u — у
Ü ü — ү

СОГЛАСНЫЕ

B b — б
V v — в
G g — г
G' g' — к (گ)
Y y — ґ (غ)
D d — д
Ž ž — ж
Ž ž — ч, дж (ج)
Z z — з
Δ δ — 3 (ذ)
J j — j
Q q — ка (ق)
K k — ке (ك)
L l — л
M m — м

N n — н
η — н
ng — нг (نگ)
P p — п
R r — р
S s — с
T t — т
F f — ф
X x — х (خ)
H h — h, x (ه, ه)
C c — ц
Č č — ч (چ)
θ θ — ʃ (ث)
Š š — ш

ДИАКРИТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ

—, : долгота
˘ краткость
~ носовой
' мягкость